Н. И. КАТЕНЕВ

КОСТЯ ПОПАНДОПУЛО И Я

Герб Таганрога



Нью-Йорк
1977

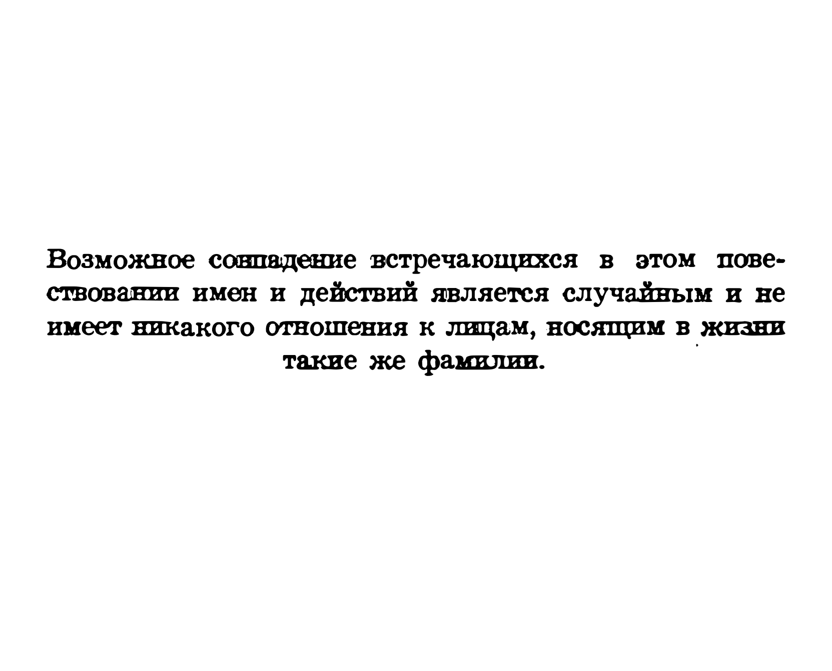
Н. И. КАТЕНЕВ

КОСТЯ ПОПАНДОПУЛО И Я

КНИГА ТРЕТЬЯ

Нью-Йорк
1977

Printed by G. A. Press, 752 Broadway, New York, N. Y. 10003


Возможное совпадение встречающихся в этом повествовании имен и действий является случайным и не имеет никакого отношения к лицам, носящим в жизни такие же фамилии.

Книги того же автора:

„Повесть о двух друзьях"
„Рассказы моря и земли"

Многие другие отдельные рассказы были напечатаны в „Новом Русском Слове", Русской мысли" и „Возрождении".

To always
Mallory Davis.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОСЬМАЯ ДЕКАДА

Для тех, кто не читал моей первой книги „Повесть о двух друзьях", я считаю нужным дать краткие пояснения о действующих лицах этого повествования.

Главные герои — Костя Попандопуло и я — живы и здоровы. От дел нашей пароходной компании мы отошли, сохранив все же контроль над предприятием в наших руках. Всеми делами компании заведует фактически сын Кости, мой крестник, Харлашка, женатый на гречанке Аспазии. Сын их, Костин внук и тоже мой крестник, Николаки блестяще окончил курс знаменитой английской мореходки и плавает штурманом на одном из грузовых пароходов нашей же компании.

Сенька-Божемой со своим зятем Смитом, женатым на Костиной дочери Наденьке, тоже официально ушли из своего грандиозного страхового дела в Лондоне и посвятили остаток дней своих игре в гольф. Они отчаянно ругаются из-за каждой проигранной партии, но вне гольфа живут душа в душу.

Дочь Джимми Смита, Фрося, несмотря на свой молодой возраст, уже стала известным врачом, а брат ее Георгий еще учится в Оксфорде.

Жена Кости, Олимпиада с своей родственницей Вирджинией Смит, продолжают заниматься благотворительностью. Особое внимание они уделяют колонии детей — сирот, которую по-прежнему ведет дядя Миша, а ему, дорогие читатели, хотите верьте, хотите — не верьте, перевалило уже за сто лет. Телом он, конечно, постарел, но душою остался юн, а памятью мог поспорить с любым молодым человеком.

Из друзей наших по ужасному царьградскому сиденью 1920-1921 годов остались в живых только Петька Череп, в прошлом — корнет 5-го гусарского Александрийского полка, хотя тоже уже старик, но все еще работающий в своей школе верховой езды где-то за экватором, да „граф" Лиманский, в Нью-Йорке, которому тоже улыбнулась судьба: он разбогател и стал миллионером.

Эта „улыбка" судьбы заключалась в том, что компаньон „графа" по погребальному делу и картинной галерее Ферапонт Молюба со своей супругой, катаясь на собственной яхте около Нью-Йорка, попали в шквал. Яхту опрокинуло и оба они утонули. Тела их нашли через несколько дней, и „граф" устроил своему компаньону и его жене пышные и торжественные похороны, о которых говорил потом весь русский Нью-Йорк. Нашлись, правда, злые языки, уверявшие, что роскошные похороны были на самом деле выражением радости по случаю того, что „граф" остался единственным владельцем предприятия, но, как вы сами знаете, злые языки всегда

будуть шипеть от зависти, видя успех своего ближнего, русского эмигранта.

Вступив во владение делом, „граф" забросил картинную галерею и повел свое погребальное предприятие так, что сделался настоящим „королем" в этой невеселой професии. Он организовал по всем крупным городам Америки целую сеть специальных „клубов", где каждый их член был застрахован на тот случай, если он умрет даже нищим, то его все же похоронят по первому разряду, невзирая ни на религию, ни на принадлежность к той или иной юрисдикции зарубежной русской церкви.

Мы с Костей поддерживали связь с ними обоими, иногда ездили к ним в гости, не забывая старых друзей времен царьградского сиденья и кофейных плантаций Бразилии.

Кин, или „гений беспутства", как я уже писал, был расстрелян немцами во Франции. О судьбе его я сожалею по сей день, человек он был редкий.

Но прежде чем начать повествование о дальнейшей судьбе моих героев и чтобы не вызвать на лице читателя недоверчивой ульбки, я хочу напомнить, что, когда мы с Костей Попандопуло приехали в Америку в 1922 году, средний возраст американца, как и европейца, был в то время 50 - 55 лет. Теперь же, благодаря непрекращающимся открытиям и достижениям медицины, улучшению санитарных условий и питания и жизненных удобств вообще, этот возраст в Европе и в особенности в Америке возрос до 75 лет. Но это с р е д н и й возраст, и это значит, что человек может далеко и перешагнуть его. Вот недавно в Германии один такой „молодой" человек

сбежал откуда-то; его разыскали и вернули обратно, на место жительства, но уже с женой, так как он успел за это время жениться. Жениху было... 100 лет, а невесте — 72.

Тепер в 80 лет люди зачастую только начинают жить и живут так ярко и красочно, что и многим не под стать... А любовь в 80 лет? Очень часто — это самая высшая и страстная форма любви, на которую не бывает иногда способен и молодой человек!

Поэтому я и прошу читателя не удивляться ни Костиным увлечениям, ни его переживаниям. Так было! А как будет дальше? Посмотрим...

Когда мы с Костей вступили в восьмую декаду нашей бурной жизни, то благодаря крепкому стариковскому здоровью мы совсем не чувствовали бремени нашего солидного возраста, и если мы говорили кому-нибудь, сколько лет нам было в действительности, никто нам не верил.

Особенно везло в этом отношении Косте, после того как он сбрил свою бороду „философа" и остриг седеющие волосы, которые он запустил было до плеч. В первой части книги я уже писал, что на старости лет, Костя, по выражению Олимпиады, его жены, совсем „сказился" и увлекся изучением философии, от работ старика — грека Гераклита до поныне здравствующего француза Сартра.

И так как в представлении Кости все философы античного мира носили бороды, то он и отпустил себе такую бородищу, что сам Соловей — разбойник удавился бы от зависти. Волосы носил Костя до самых

плеч, как все древние философы и современные их последователи, — молодые „битники" и „хиппи".

Жена Кости Олимпиада называла его волосы и бороду „патлами" и порой весьма ядовито издевалась над ним, но Костя, как подобает всякому уважающему себя философу, ответной бранью ее не удостаивал и лишь презрительно улыбался. Все другие члены Костиной семьи, его друзья и знакомые избегали касаться вопроса о Костиной буйной шевелюре и бороде, недоуменно переглядывались за его спиной, разводили руками и вращали пальцем в области виска, показывая, что у Кости „не все дома".

Я, лично, — не философ и в науке этой ничего не понимаю, но я прекрасно понимал Костино увлечение философией вообще и в особенности современной философской мыслью и понимал также, почему он превратился в „дикобраза", по выражению одного из его врагов, — одесского грека Аринаки.

Несмотря на свои почтенные годы и имея уже взрослых внуков, Костя не переставал увлекаться прекрасным полом и волочился за каждой юбкой, чем даже хвастался передо мною. Я много раз говорил ему, что, по всей вероятности, он ездил в Швейцарию „омолаживаться", что, мол, осенние мухи жалят сильнее, что добром все это не кончится, но на все эти мои предупреждения Костя не обращал внимания.

Как и всякого старика, Костю уже не тянуло к зрелым женщинам и он увлекался исключительно молодыми девушками. А где же можно было найти охотниц на сближение с таким старым павианом? Да только в клубах „битников" и „хиппи" и других

таких же им подобных типов, протестующих против всего решительно, не желающих работать, и у которых любовь была не только свободной, но даже обязательно свободной для более крепкой и солидной спайки между последователями этого культа. Возраст в таких кружках не играл никакой роли. Главное, — нужно было протестовать против чего-то и тогда все было в порядке. Почти обязательным условием для каждого члена таких кружков было ношение длинных волос, усов и бороды, ожерелий и браслетов, каких-то странных костюмов, а на ногах — сандалий, а то и просто можно было щеголять босиком. „Протестанты" против существующего порядка (Establishment) не верили в необходимость труда, жили главным образом подачками или же как птицы небесные, которые не сеют и не жнут, но всегда бывают сыты.

Костя быстро учел выгодные стороны жизни „протестующих" и превратился в „дикобраза", а с его широким и щедрым разбасыванием „презренного металла" сделался желанным собратом этой „шатии" и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Иорке, а в этих городах он бывал часто. Среди не особенно следящих за гигиеной молодых гурий этого „рая на земле" он жил, как пятибунчужный паша. Я знал, конечно, об этих увлечениях Кости, понимал, чем они могут кончиться и только ждал момента, когда грянет гром и даст мне случай от души посмеяться над Костиными выходками.

Хотя посещал все эти клубы Костя очень осторожно, под чужой фамилией, я все же боялся скандала и даже принял некоторые меры, чтобы вытащить Костю из возможной будущей неприятности. Так оно однажды и случилось.

Прилетели мы как-то с Костей в Нью-Йорк, остановились на нашей общей квартире, и вечером Костя ушел по своим делам, а я, оставшись дома, долго читал и потом лег спать.

Перед самым утром меня разбудил телефонный звонок. Звонили из полицейского участка. Мне сообщили, что среди только что задержанных в одном очаге „прогрессистов" находится один человек, который уверяет полицейских, что он — мой друг. Он просит меня приехать и выручить его из участка.

Пришлось сломя голову лететь в „каталажку".

Картину, которую я увидел по прибытии в „узилище" я не забуду до самой смерти. Среди всей этой „босоты", немытой, небритой, нечесанной, в долгополых одеяниях, босых, с какими-то ожерельями на немытых шеях и браслетами на руках и ногах — резко выделялся своей особой в белом хитоне, правда — наброшенном на приличный костюм, не босой, а в сандалиях, с цветком в патлах, не кто иной как сам К. А. Попандопуло, председатель крупной пароходной компании с мировым значением в торгово-морских кругах.

Как раз в это время Костю допрашивал полицейский капитан — ирландец, обвинявший его в том, что он является главой этого сатанинского кружка. Вокруг усиленно щелкали фотоаппараты оголтелых нью-йоркских репортеров, которые особенно старались запечатлеть необыкновенный вид и каторжную физиономию Кости. Среди репортеров было несколько моих друзей.

В помещении стоял шум, смех, дикий галдеж... Мне все же удалось в конце концов освободить

Костю, взяв его на поруки, и при помощи репортеров — моих друзей замять это дело. Как удалась мне такая махинация, об этом я пока умолчу, но Костю из беды я выручил, и это было главное. Лишь мои друзья репортеры сильно сокрушались, что, исполняя мою просьбу, они не смогут поместить во всех газетах Нью-Йорка фотографию Кости в его необыкновенном наряде. А снимок был действительно потрясающий даже для видевших всякого рода виды нью-йоркских журналистов.

Привез я Костю домой только часов в восемь утра. По его просьбе на квартиру был вызван парикмахер, который обстриг Костины патлы, сбрил усы й бороду и в общем привел его в „христианский" вид.

Не было бы, как говорится, счастья да несчастье помогло: остриженный и побритый, Костя, казалось, не только помолодел, но даже и похорошел. Через две недели, когда мы с Костей прилетели в Афины, на изумленные взгляды и вопросы его жены Олимпиады и других членов семьи о метаморфозе, случившейся с его наружностью, Костя мрачно отвечал, что с такой семейкой, как его семья, нужно удивляться, что пропали только его волосы, а не голова... С такими родственниками, говорил он, до плахи палача — один только шаг... Окружающие изумленно переглядывались, недоумевали, пытались расспрашивать меня, но я хранил олимпийское молчание, и Костя иногда бросал мне благодарные взгляды...



Жизнь шла своим чередом. Я ушел от ведения нашего дела почти совсем. Летал по всем морям и океанам, чего-то искал и не находил. А вот чего

именно я искал, я и сам не знаю по сей день, но все еще продолжаю искать...

Костя официально тоже не участвовал больше в делах нашей компании, но издалека, пристально, как коршун, следил за ходом дела, которое вел его сын Харлашка. И если Косте что-нибудь не нравилось, то, по греческому обычаю, выговор Харлашке был сурово-крикливым. Своей же страсти, тяготения к каждой юбке, несмотря на преклонный возраст и скандал в Нью-Йорке, Костя не оставлял.

Жена Кости Олимпиада давно махнула рукой на все его выходки и с женой Сеньки-Божемой, англичанкой, целиком ушла в благотворительность. Настоящую, христианскую помощь своим ближним, а не показную фарисейскую светскую болтовню, когда с пышного „благотворительного" обеда бросаються голодающим какие-то крохи. Гордостью Кости и Олимпиады был их внук, Николаки, — сын Харлашки и мой крестник, как и Харлашка. С самого нежного возраста Николаки жил, думал и мечтал только об одном: стать капитаном корабля. Море было его жизнью, его страстью и его мечтой, кроме моря, он не признавал ничего. Поэтому он не хотел учиться ничему другому, иначе как морскому делу. Не обращая внимания на протесты своих родителей, Харлашки и Аспазии, относившихся к морю с легким пренебрежением, Николаки с помощью Кости поступил в знаменитую английскую мореходку, которую и окончил блестяще. Из него, когда-то почти уродливого мальчишки, вырос стройный молодой атлет. Красивым, правда, назвать его нельзя было, уж очень был он похож на Костю, своего деда. Но это обстоятельство искупалось его мужественностью, достоинством

и самой очаровательной и располагающей улыбкой, симпатичней которой я не встречал и не видел за всю мою долгую грешную жизнь.

Николаки был прекрасно образован, в совершенстве владел пятью языками, обладал манерами настоящего джентльмена и все же мечтал только об одном: как можно скорее стать командиром корабля. Большего он ничего не хотел.

Не подавая вида, Костя нежно любил Николаки, но держал его в ежовых рукавицах, заставляя все время плавать, для практики, только помощником капитана, хотя Николаки уже имел диплом капитана дальнего плавания и мог свободно командовать кораблем. Попутно Костя заставил Николаки усиленно изучать морские законы (Admiralty Laws), что Николаки делал с большой охотой.

По секрету Костя сказал мне, что Николаки будет главой нашего предприятия в будущем. Он рожден быть моряком и, плавая, узнает все тонкости морского дела, могущие пригодиться ему в будущем. Не то, что его папаша, Харлашка, которого Костя слегка недолюбливал за его пристрастие к коммерции и пренебрежительное отношение к морю. За широкосветский образ жизни Харлашки и Аспазии, его жены, Костя прямо-таки презирал их и в чем-то как будто подозревал Харлашку, но в чем именно, не говорил даже мне. Все свои надежды Костя возлагал на Николаки, а Харлашка как-то в счет не шел.

Довольно часто мы бывали у дяди Миши на его острове с детской колонией, из которой уже вышло много образованной и дельной молодежи. Дяде Мише было уже за сто лет, но душою он был молод, как

юноша. Он много интересовался Россией, выписывал уйму журналов и газет из Москвы, следил за русской литературой. Он всегда о чем-то напряженно раздумывал, даже разговаривая с нами, а на наши вопросы о будущем нашей планеты и всего рода человеческого отвечал: „Терпение и терпение! Свет всему миру придет с Востока!” С какого „Востока” он не говорил и только улыбался своей светлой улыбкой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Итак, вторая мировая война, как и первая, сулившие всему человечеству вечный мир, была окончена. Но окончилась она только официально. На деле же, в той или иной форме, война продолжалась и продолжается и по сей день, то на Дальнем, Среднем или Ближнем Востоке, а то и в самой еще не оправившейся от ужасов прошлой войны Европе.

Истощенной войной Англии пришлось потерять большинство своих колоний. И вместо с этим оставить и роль международного жандарма, которую она выполняла в течение ряда столетий.

Раздувая опасность коммунизма для всего мира, Англия взвалила эту роль мирового полицейского на плечи ничего не подозревавшей и неопытной в этом отношении Америки, страны, почти никогда не имевшей большого навыка в колониальных делах.

Вот тут-то американцы в третий раз в своей истории забыли свое традиционное невмешательство

в европейские дела, и началась так называемая „холодная война", временами переходившая да и еще переходящая в самую настоящую, „горячую" войну.

Убежденные в опасности коммунизма американцы довольно правильно рассудили, что при умело поставленной пропаганде скорее всего становится коммунистом человек голодный и следовательно, чтобы избежать распространения коммунизма, нужно этих голодных и холодных людей накормить, одеть и обуть и дать им работу, а в случае нападения на них, в особенности со стороны коммунистов азиатских, защищать их, не останавливаясь даже перед военными действиями.

И Америка начала выполнять эту грандиозную задачу. Она оказывала самую широкую помощь и деньгами и продовольствием, а где бывало нужно — и вооруженной силой.

Ни смерть Сталина, ни падение Хрущева не останавливали этой то глухой, то явной, открытой борьбы за торжество коммунизма на всей планете — со стороны Москвы и Пекина и за так называемый — демократический строй для всех народов мира — со стороны Америки. Американский государственный секретарь Даллес летал по всему миру разбрасывая миллиарды долларов, наивно стараясь организовать „массивное" сопротивление последователям „евангелия от Маркса", но не дремала и Москва, — тоже в шестидесятые годы. Она помогала тем же бедным и отсталым странам Востока с их бедным насилением, а временами даже шире чем это делала Америка — наверное для того, чтобы оттянуть население этих стран от влияния США в московскую орбиту.

Соревнование этих двух больших младенцев шло „во всю ивановскую!"

В средствах борьбы и соревнования за их влияния особенно не разбирались. Всякая дипломатическая этика большей частью была забываема. Для курьеза возьму такой случай. Произошел он в Бурме. И тоже в шестидесятых годах.

В Бурме, житнице риса всего Дальнего Востока, был большой катострофический неурожай. Население почти голодало. Правительство США решило послать голадающим бурмийцам несколько транспортов риса. Корабли пришли — началась их разгрузка. По главным улицам потянулись грузовики с американскими подарками. Посол США с его штатом дипломатов вышел на балкон встречать эту процессию. Вот грузовики дефилируют перед посольством США, а бурмийцы — заполнившие все улицы — молчали. Благодарности не высказывали. Но когда грузовики добрались до Советского посольства — то раздались бурныя овации. Американцы недоумевали в чем тут была зарыта собака, почему молчание? Разобрались на второй день. Оказалось, что на всех мешках с рисом красовался огромный штемпель на бурмийском языке гласивший всему честному бурмийскому же народу, что этот подарок от русских коммунистов сочувствовавших бедному братскому пролетариату Бурмы.

Как это было устроено? Догадаться было легко.

В личном составе каждого совпосольства 80, а то и 90 % всего персонала говорят, пишут и читают на языке той страны где они находятся. В посольствах США — два, три переводчика, и это все.

Большинство совчиновников знакомились, сходились с народом, преимущественно с рабочим народом того государства где они находились. Конечно, вели им нужную пропаганду. Результат, грузчики Рангуна в Бурме помогли наложить бурмийский штемпель вещавший о „русском подарке". Американский посол, умный дипломат, протеста не заявил, но об этом случае узнали американские журналисты и происшедшее было описано в журнале Reader's Digest — год забыл.

Сажались в лужу и советчики тоже. В новую Гвинею в Африке, находящуюся почти на экваторе, пришел совкорабль с подарками ... Грузом овчинных полушубков, прекрасно обурудованной типографией и... несколькими снего-очистительными машинами. Это-то в страну, расположенную на экваторе с нетерпимой влажной жарой. Население получило полушубки (польской выделки) и ... начало их „загонять" командам северо-европейских кораблей. Мой приятель, голландец, капитан грузовика, купил шесть таких полушубков по 2 доллара, привез домой и одел всю его семью для зимняго спорта по льду на реке Шельде.

Прекрасная типография русского производства была принята с восторгом. Была беда только в том, что гвинейцы на своем языке изъяснялись, да! но ни алфавита, ни грамматики они не имели. Типография была построена, машины были установлены но... они все покриты ржавчиной — не работают. Гвинейцы до сих пор их азбуки не имеют, пользуются французской. Снего-очистительныя машины „загнали" куда в Южную Чили. Я мог бы привести сотни таких примеров „братской" помощи, но начинаю

злиться когда думаю о безумных расходах, труде выброшенных зря.

Да и Москва, рассылая повсюду своих эмиссаров, ведших пропаганду против „американского империализма", и оказывая немалую материальную помощь отсталым странам Востока, Африки и Южной Америки, где население было особенно бедным, сделала их „самотеком" сторонниками идей Карла Маркса.

В странах обеих враждующих идеологий началось преследование подозреваемых в симпатиях к противной стороне. Москва и Пекин преследовали все американское, все, как им казалось, сочувствующее Заподу, и преследование это доходило временами до комизма.

Несколько лет подряд запрещалось ввозить в Россию и в Китай даже пластинки американского джаза, а в Москве косо смотрели на детишек, жевавших американскую резиновую жвачку, которой их снабжали американские туристы. Крамола, мол!

В общем в пятидесятых и шестидесятых годах обоими враждующими сторонами холодной войны было проявлено много ошибок, и, вот теперь приходиться за них расплачиваться. И как расплачиваться.

Как следствие шпиономании в обеих странах была установлена слежка и вылавливание „крамольников". Москва поручила это занятие КГБ, а в Америке свирепствовала комиссия пресловутого сенатора Макарти.

В такой обстановке и на Западе и на Востоке погибли репутации многих ни в чем неповинных людей, заведомо оговоренных огульно. Их работа, карьера, дела были разбиты раз и навсегда. В Америке иная

деловая фирма, взятая под подозрение, становилась „гиблым делом" после допроса, расследования и вынесения вердикта. Много пострадало и отдельных людей и целых обществ.

Тем временем торговля и промышленность и в Америке и в Западной Европе шла гигантскими шагами вперед. Американские деньги широким потоком лились в бездонные карманы вождей и дельцов „отсталых" или „угнетенных" стран. Как эти деньги расходовались, кому и на что они употреблялись, — история пока умалчивает, как молчат и швейцарские банки, хорошо на этот счет осведомленные. Но торговля шла в огромных размерах. Зарабатывались астрономические суммы денег и таким же образом расстрачивались по всем „злачным" местам обоих полушарий. Временами казалось, что шел пир во время чумы или перед вавилонским столпотворением.

Больше всех зарабатывали в этой вакханалии пароходовладельцы Ближнего Востока. Но им вменялось в обязанность быть „паиньками", не иметь никаких дел со странами советского блока и, упаси Боже, с коммунистическим Китаем. Торговля же с Китаем в те времена, до шестидесятых годов давала огромные барыши, и некоторые пароходные компании соблазнялись такими сделками. Они прибегали к различным уловкам, фрахтовали свои суда, даже сами покупали товар и, благополучно дойдя до Шанхая, снимали обильную жатву. Но если они попадались с их проделками, то наказание за нарушение правил было довольно суровым. Можно было попасть под бойкот и делу мог наступить конец и полное разорение.

Хотя Харлашка вел дела самолично, Костя, его папаша, пристально следил за ходом дела, исправлял Харлашкины ошибки, и все пока шло хорошо. Но однажды, дело было в 1962 г., мы с Костей прилетели в Нью-Йорк по нашим личным делам, и за утренним кофе на нашей общей квартире Косте принесли телеграмму. Прочитав се, Костя заметно побледнел и молча протянул мне: из телеграммы было ясно, что Харлашку кто-то „обошел" и, соблазнившись высоким фрахтом, он без нашего ведома зафрахтовал один из наших пароходов для рейса в... советский Шанхай! Такое предприятие сулило нашему делу близкий конец...

В моменты опасности, на море или на суше, Костин дикий темперамент уступал место хладнокровию, и Костя становился спокойным, молчаливым и напряженно что-то обдумывающим. Так было и на этот раз: когда я вернул ему телеграмму, он бросил мне только два слова: „Собирайся! Летим!" и к утру следующего дня мы были уже в Афинах.

Прямо с аэродрома мы примчались в контору, где нас встретил испуганный Харлашка. Не здороваясь, Костя сразу потребовал показать ему контракт на рейс нашего корабля в Шанхай. Молча, сосредоточенно он прочел контракт и протянул его мне. Я тоже прочел договор. Из контракта было ясно и понятно, что нашему делу угрожает серьезный скандал.

Костя вооружился телефоном. Звонки знаменитым адвокатам по морским делам в Швейцарии, в Лондоне, Нью-Йорке, в Гамбурге не дали никаких положительных результатов. Дело было ясным: нужно выполнять подписанный контракт, иначе будет су-

дебный процесс и такой, что лучше об этом не говорить.

„Ваш сын попался на удочку вашим конкурентам — пиратам, которые только и мечтали захватить ваше дело в свои руки. Помимо высокого фрахта, вашему сыну, возможно, обещали уплатить, как бы в награду, тайком от вас, крупный куш, — и ход этот им удался. А тут уж мы бессильны помочь вам!" Таков был почти общий ответ всех знаменитостей морской адвокатуры.

Ничего не сказав Харлашке, Костя поднялся и знаком пригласил меня следовать за ним. Пешком мы направились в знаменитое афинское кафе Зонта. В укромном уголку сели мы с ним за столик, и Костя заказал целую бутылку превосходного греческого коньяка „Метакса". Костя беспрерывно курил свою трубку, пил коньяк и молчал, что-то сосредоточенно обдумывал. Молчал и я, уверенный, что из этой неприятной истории нам выбраться будет невозможно.

К нашему столику подошел конкурент Кости по увлечению прекрасным полом, тоже богатый судовладелец, русский грек из Одессы, некий Аринаки. Он страшно завидовал Косте и его успехам не только в „женском вопросе", но и в других делах, что, однако, не мешало ему уверять Костю, что он самый искренний его друг. По лицу Аринаки было видно, что ему уже кое-что известно о нашем шанхайском фрахте, уж очень он был мил и любезен. Ссылаясь на деловое совещание, Костя без обиняков попросил его оставить нас в покое, и разозленный Аринаки, злорадно улыбаясь, отошел прочь от нашего столика.

„Уже кое-кто знает о нашем скандале", — сказал Костя, и мы опять погрузились в наши невеселые думы. Бутылка коньяка медленно пустела.

Вдруг, как порыв свежего морского ветра, в кафе ворвался и подбежал к нашему столику Костин внук и мой крестник Николаки. Высокий, стройный, мускулистый и загорелый, он поздоровался с нами и, приглашенный Костей, сел рядом с нами. Выпив налитую ему рюмку коньяку и заметив наши угрюмые лица, Николаки справился у деда о причинах нашей озабоченности.

— Спроси у „но-но" (крестный отец, по-грекески), он тебе расскажет в чем дело, — ответил ему Костя.

Мне пришлось посвятить Николаки в эту неприятную историю. Внимательно меня выслушав, Николаки спросил:

— И это все?

— Да, это все, — недовольно буркнул Костя. — Тебе этого мало? Ты хочеш еще больше? Нам конец! Выхода нет... Ничего сделать нельзя...

— А если я найду выход из этого положения, что я за это получу? — весело улыбаясь спросил Николаки.

— Ты? — уже улыбаясь, спросил своего любимца Костя.

— Да, я. Что я получу за эту услугу нашему делу?

— Проси чего хочешь, но мне твое предложение кажется фантазией...

— Фантазия или не фантазия, — это мое дело. Я уверен, что спасу положение, но что ты мне дашь за это? — приставал Николаки.

— Я уже сказал тебе, что сделаю все, чего ты захочешь. Что тебе надо, говори!

Улябаясь, Николаки проговорил:

— Ты знаешь, что у меня есть диплом капитана дальнего плавания, а я до сих пор плаваю штурманом и буду им плавать до тех пор, пока ты не найдешь, что я готов к тому, чтобы плавать капитаном. Но ты ведь знаешь, что я к этому уже вполне готов. Так вот: если я выручу вас из беды, — ты назначишь меня капитаном? Сразу, без проволочек?

— Быть по сему! — улыбаясь, сказал Костя.

— Но это еще не все, — продолжал Николаки. — Ты должен уговорить „батеру" (отец, по-гречески) дать согласие на мой брак с замечательной девушкой, которую я люблю вот уже два года.

— Отец и мать не хотят, чтобы я на ней женился, потому что она из бедной семьи. Ее отец плавает у нас боцманом. Елена, хотя и без особого образования, обладает ясным умом, серьезным характером, она красивая, всегда приветливая и вообще очень милая и красивая. Но отец мой считает, что ее семья нам не ровня и о ней слышать не хочет.

— Сволочь! — заскрежетал вставными зубами Костя. — Сколько тебе нужно времени, чтобы твоей комбинацией вытащить нас из беды, и сколько тебе нужно денег на эту процедуру?

— Времени? 48 часов, а деньги у меня есть. Рассчитаемся потом, — деловито заявил Николаки. —

А теперь — не мешайте мне. Я иду на этот злосчастный корабль и вернусь сюда, в кафе, через 48 часов! — И взяв с собой контракт, Николаки попрощался с нами и пулей вылетел из кафе в мягкую прохладу сине-бархатной афинской ночи.

Проводив его взглядом, Костя сказал мне:

— Если этот сорванец действительно выручит нас из беды, я ему устрою такой сюрприз, что ему и не снилось! Идем теперь спать!

Мы вышли из кафе и отправились по домам.

Вечером второго дня Костя и я опять сидели у Зонта и молча пили наш коньяк, изредка поглядывая на двери. Около пяти часов, в сопровождении какого-то старичка, в кафе медленными шагами вошел Николаки. Он подошел к нам, представил своего компаньона и вдвоем они уселись за наш столик.

— Читали? — спокойно спросил Николаки.

— Что „читали"? — пробурчал Костя.

— А то, что на нашем корабле, который должен идти в Шанхай, взбунтовалась команда.

— Нет, не читали, — ответил за нас обоих Костя.

— Напрасно! — проговорил Николаки. — Бунт вспыхнул из-за плохой и скудной пищи. Зачинщики мятежа были арестованы, но теперь уже освобождены и вся команда отпущена на берег до выяснения дела.

— Ну, а дальше что? — саркастически улыбаясь, спросил Костя. — Из-за плохой и скудной пищи? Это — у нас-то?

— А дальше — очень просто: по давно забытому, но еще имеющему силу морскому закону дело обстоит

так: владелец судна, на котором произошел бунт, освобождается от подписанного им контракта. Сразу... Команда спускается на берег до выяснения дела, а владелец корабля свободен от обязательств принимать груз и идти в рейс. Закон этот в старину был проведен международными страховыми компаниями и судовладельцами для того, чтобы избежать расходов за возможный долгий простой корабля без дела...

— Откуда ты это знал и как ты провел эту махинацию? — спросил до крайности изумленный и озадаченный Костя.

— Я — не мой „батера" (отец), — ответил Николаки. — Недаром я изучал международные морские законы и знаю, что нужно делать в затруднительных случаях. Ты, дедушка, можешь теперь видеть сам.

— Вижу! — произнес Костя. — А все же, что еще надо сделать, чтобы официально быть свободным от контракта?

— Для этого я и привел своего знакомого адвоката по морским делам, — Николаки жестом указал на своего спутника, — который принес все нужные бумаги. Он избегает теперь браться за большие дела, но я учился с его внуком в Англии и ради моей дружбы с ним он и взялся и провел это дело.

Старичок не спеша вынул из своего портфеля какие-то бумаги, вслух нам их прочитал (правда, мы мало поняли юридический язык Эллады), и мы их быстро подписали.

— А теперь, господа, вы свободны от вашего китайского контракта. Все ваши бумаги будут у меня

в конторе. Счет о моем гонораре будет вам прислан. Честь имею кланяться!

И старичок, почтительно сопровождаемый Николаки, вышел из кафе. Мы же с Костей остались сидеть буквально с открытыми ртами... Самые крупные адвокаты мира ничего не смогли сделать, а тут старый да малый вытащили нас из беды...

Николаки вернулся к столику, и Костя, испытующе глядя на него, спросил:

— Как же ты все это устроил?

— Я тебе, дедушка, уже сказал, что я недаром изучал морские законы, а как я провел эту операцию —это пока мой секрет. Вот когда ты сделаешь меня капитаном да поможешь мне жениться на Елене, тогда я тебе расскажу всю историю. А пока — ОХИ (нет, по-гречески), и Николаки поднял глаза к небу, — знак отрицания у греков.

Здесь я впервые заметил, что Костя с необыкновенной, даже трогательной нежностью посмотрел на своего внука и произнес:

— Ты будешь не только капитаном, а кем-то гораздо большим! А сейчас — беги и веди сюда свою невесту. Ты, Николай, иди вызови по телефону мою Олимпиаду, Николакину бабушку. Если мы все втроем найдем, что твоя невеста подходит тебе и нам, — то не волнуйся. Твоего дорого папашу я уговорю дать согласие на твою женитьбу, даже если мне придется переломать ему несколько ребер, чего он, впрочем, уже давно заслуживает за свои выкрутасы. Беги!

Николаки циклоном вылетел из кафе, а я вызвал по телефону Олимпиаду. Через несколько минут она уже входила в кафе, испуганно вращая своими оромными глазами. Охая и ахая, она уселась в глубокое кресло, специально принесенное для нее по требованию Кости, но на все ее расспросы, в чем дело? — Костя упорно молчал.

Через какое-то короткое время в дверях кафе вырос Николаки в сопровождении прелестно-скромной молодой девушки. Оба они подошли к столу, и Николаки представил свою спутницю Косте, Олимпиаде и мне. По величавому знаку Кости они уселись за стол. Костя и Олимпиада почти в упор рассматривали любовь Николаки. Смотрел на нее и я и вот что я могу сказать о невесте Николаки:

На протяжении тысячелетий много было написано о женской красоте, стимуле почти всех человеческих отношений, но о красоте Елены можно было сказать только одно: примеров такой красоты, духовной и физической, в мире было очень мало.

Вполне красавицей ее назвать было нельзя. Но в ней светилась мягким лучезарным светом ЖЕНЩИНА, жена, мать, друг, любимый человек, от первой встречи и до конца дней. Держалась она с присущим молодым гречанкам скромным достоинством, прямо и открыто смотрела в глаза нам всем, окружившим ее, и изредка поглядывала на Николаки, как казалось — уверенная в его защите и опоре.

Костя задал ей несколько вопросов о ее семье, об образовании. Узнав о том, что она училась английскому языку, Костя, со своим убийственным до сих пор нью-йоркским произношением языка Шекспира,

устроил ей экзамен и был даже несколько смущен ее превосходно построенными фразами и почти оксфордским произношением. Судя по его виду, результатами „экзамена" он остался доволен. По-гречески он спросил Елену, указывая на Николаки:

— Ты его любишь?

— Да! — спокойно ответила девушка.

— Хорошо, — сказал Костя и сейчас же по-русски набросился на Николаки, допытываясь, почему он раньше не говорил ему о Елене. Обругал Олимпиаду таганрогским выражением „старой аркуды" (медведь, по-гречески) за то, что она ничем не способствовала браку Николаки.

Закатывая свои выпуклые глаза, Олимпиада клялась всеми греческими угодниками, что она ничего не знала о существовании Елены, что подтвердил и Николаки.

Костя, казалось, успокоился. Скандал в нашем пароходном деле был благополучно избегнут, и он снова вошел в свою старую привычную роль патриарха и диктатора всей семьи и всего своего окружения.

— Харлашке я сегодня оторву его идиотскую голову. Запретить брак с такой девушкой?! Да ведь это — жемчужина, хранившаяся где-то на большой глубине человеческого океана. Я знаю, что говорю, потому что знаю женщин . . .

— Как же вам, Константин Аристидович, муж мой драгоценный, не знать женщин? Опыт у вас большой по этой части, — ядовито уколола Костю Олимпиада.

— Молчать! — рявкнул Костя. — Я — философ, тебе это известно. Я знакомился со многими женщинами и вел с ними разговоры только на философские темы... — и Костя презрительно улыбнулся. — Ты лучше скажи, как тебе нравится Елена? — спросил он Олимпиаду по-русски.

— Да если бы я знала ее раньше, она давно была бы женой Николаки, — и Олимпиада с тревогой спросила Николаки тоже по-русски:

„А готовить она умеет"?

Николаки ласково успокоил бабушку, сказав, что Елена — прекрасная хозяйка. С двенадцати лет, после смерти матери, она сама ведет все хозяйство и сама воспитала трех своих братишек. Ее отец глубоко любил ее мать и после ее смерти решил не жениться во второй раз. Так как он все время плавал, да и сейчас продолжает плавать, Елене и пришлось быть „главой семьи". В этом смысле беспокоиться нечего.

„Ты, Колька, — сказал Костя, обращаясь ко мне, — лети в собор. Устрой там быстрее оглашение о свадьбе дней через десять. Закажи самое торжественное венчание. С хором, паникадилами с полной иллюминацией. В общем денег не жалей. Ты, Олимпиада, мчись домой, вооружайся телефоном, звони всей семье, где бы их дьяволы ни носили, — пусть все едут на свадьбу!"

По-гречески он спросил Елену: „Отец твой дал согласие на брак?" „Нэ" (да) тоже по-гречески ответила ему Елена.

„Хорошо, — сказал Костя. — Я беру Николаки и Елену и еду с ними покупать ей мой подарок:

обручальное кольцо. Сегодня мы обедаем в Кефиссии (загородный дом Кости). Скажи Харлашке, чтобы он с Аспазией пришли бы на обед обязательно. Марш!"

Мы все отправились выполнять распоряжения Кости. Выходя из кафе, я по привычке бросил взгляд на висящий на стене барометр. Он заметно падал. „Ну, будет сегодня вечером дело в Кефиссии, — подумал я и направил стопы своя к собору.

ГЛАВА ТРЕТЯЯ

ШКВАЛ

Приехав к Косте в Кефиссию, я вошел в гостиную, где уже сидели невозмутимый с виду Харлашка со своей женой Аспазией, погруженной в чтение газетного фельетона о жизни „высшего света, почти целиком состоявшего в Афинах из новоиспеченных богачей. Публика эта здесь, как и везде, во всех других частях света, не интересуется ничем и никем, не принадлежащим к их братии. Одетая со вкусом, конечно, по последней моде и украшенная драгоценностями Аспазия изредка и свысока бросала снисходительный взгляд на черный, по греческой старинке, наряд Олимпиады.

В свои детские годы Харлашка был очень красивым мальчиком. Теперь же, как мне казалось, он выглядел нахально-красивым, самоуверенным мужчиной среднего возраста. В нем ясно чувствовалась уверенность в том, что благодаря капиталам папаши ему все дозволено, все возможно, и он может делать все, что ему заблагорассудится. Деньги помогут ему

выйти сухим, думал он, из какой угодно воды. Вот и теперь деньги позволили ему избежать крупного скандала с фрахтом в Шанхай (он еще не знал, что это его сын Николаки спас наше дело).

Вместе с тем, невзирая на весь их снобизм, Харлашка и Аспазия по какой-то неизвестной причине искренне любили и уважали меня. Они боялись Кости, с сожалением смотрели на Олимпиаду и с пренебрежением относились к жившему почти спартанской жизнью единственному их сыну Николаки, открыто презиравшему образ жизни „золотой молодежи" всех столиц мира.

По словам Кости Харлашка был и картежником и бабником, да и жена его тоже охулки на руку не клала. Она и играла и флиртовала, и Косте были известны некоторые ее, хотя и кратковременные, романы с подозрительными типами в Монте-Карло и в Сан-Морице, смотря по сезону. Такой образ жизни Харлашки и Аспазии сильно беспокоил Костю, и он иногда делился со мною своими опасениями за судьбу дела в Харлашкиных руках. Он сказал мне однажды, что у него созрел план насчет Харлашки, но план этот он держал пока в секрете даже от меня.

Мы вели пустой „салонный" разговор, когда в гостиную вошел Костя в сопровождении Елены и Николаки. Харлашка с женой, слегка изумленные приходом неизвестной им молодой девушки, встали, подошли к Косте и по греческому обычаю почтительно поцеловали ему руку.

— Харлампий и Аспазия, — по-гречески обратился к сыну и невестке Костя, — представляю вам Елену Куцугис, возлюбленную Николаки и вашу будущую

невестку. Прошу ее любить и жаловать. Свадьба состоится через десять дней!

— Что?! — невольно вырвалось у Аспанзии.

— То, что я сказал! — рявкнул Костя. — Свадьба через десять дней. Понятно? В доказательство — вот: мой первый подарок Елене! — Он схватил руку слегка оробевшей девушки и поднес ее к лицам родителей Николаки. — Видите?

На руке Елены красовалось кольцо с огромным бриллиантом редкой чистоты и красивой шлифовки, окруженным маленькими хорошими сапфирами. Что-что, а у Кости был врожденный хороший вкус настоящего художника ко всему изящному и красивому. Даже на старости лет, в те моменты, когда он не занимался делами, не волочился за женщинами и не ругался с Олимпиадой, он недурно рисовал и лепил изящные на редкость статуэтки.

Харлашка и Аспазии ничего не оставалось сделать, как расцеловать Елену. Потом Олимпиада заключила ее в свои медвежьи объятия и со слезами радости на глазах начала ее целовать. Мы все перешли затем в столовую.

Приятно было видеть за обедом счастливые лица Николаки и Елены, сидевшей по правую руку Олимпиады, которая все время толковала ей по-гречески о квартире, о кухне, о хозяйстве. Родители Николаки были деланно, по-светски вежливы и казались довольными будущей свадьбой сына, но в глазах Харлашки я улавливал временами испуг набедокурившего ребенка, знающего, что час расплаты за его проступки недалек. Аспазия изредка бросала ревнивые взгляды на кольцо Елены и старалась не смотреть на Костю.

Сам же Костя вел себя загадочно-спокойно. Он был крайне вежлив со всеми, даже Олимпиаду не обругал ни одним словом во все время семейного торжества. Зная Костю чуть ли не с пеленок, я понимал, что он только маскирует свои переживания и что Харлашке будет задана такая головомойка, что он пожалеет о том, что появился на свет Божий, и поэтому я разговаривал со всеми присутствующими, лавируя между рифами, мелями и сильными течениями вдоль берегов Костиной семьи. С десертом было подано шампанское, Костя провозгласил тост, опять начались поцелуи, поздравления и пожелания, после которых Костя сказал, обращаясь к Николаки:

— Теперь бери твою мать и Елену и вези их в Афины. А ты, Харлампий, оставайся здесь, мне и твоему крестому нужно поговорить с тобой кое о чем.

Нежно поцеловав Елену и Николаки, он ткнул свою лапу Аспазии для поцелуя и, буркув „кала никти" („спокойной ночи", по-гречески) Олимпиаде, направился в свой кабинет-библиотеку, знаком приказав мне и Харлашке следовать за ним. Там он усадил нас в глубокие кресла, а сам, своей морской походкой „вперевалку", молча и что-то, по-видимому, обдумывая, зашагал по своей огромной библиотеке. Его поведение не предвещало для Харлашки ничего хорошего. Я был уверен, что сейчас произойдет такая катавасия, что Харлашке одному будет невозможно из нее выбраться.

Хотя мой крестник и не пользовался особой моей симпатией как сноб и сынок грека-миллионера, которому дозволялось все благодаря капиталам его папаши, я все же любил его по-своему. Раньше он

таким не был, и перемена в его характере произошла лишь после того, как он попал в среду греческой „золотой молодежи" и начал подражать своим новым собратьям, почему хорошие качества его характера, о существовании которых я знал, так и увяли, не успев расцвесть.

А после войны, в пятидесятых или шестидесятых годах, когда весь мир европейских финансистов „распоясался" во-всю, когда он служил прекрасной иллюстрацией к арии Мефистофеля „На земле весь род людской чтит один кумир священный", кончающейся словами: „Люди гибнут за металл! Сатана там правит бал!" — тут уж ничего поделать было нельзя.

Не только Харлашка, но даже и сам его родитель, были вовлечены в водоворот этой свистопляски, — погони за золотым тельцом, в которой нарушались и разбивались в пух и прах не только права человека и гражданина, но и само понятие о праве на жизнь обитателя нашей планеты, созданного по образу и подобию Божьему, как об этом учит Писание.

Мне кажется, что и сам Сатана, дирижер этой оргии, когда посмотрел на дела рук своих, то пришел в ужас и даже перекрестился, как это поется в одной русской песенке, и умчался куда-то в Аркадию играть на зеленых лугах, еще не отравленных химическими отбросами, с собратьями своими — сатирами и фавнами — и с их подругами — нимфами.

Но служители культа золотого тельца за ним не последовали, оставшись у своих дел. Они продолжали наживать огромные деньги, истребляя и отравляя богатства природы, созданной Великой Силой на защиту и радость человеку. Для будущих потомков наших

такое положение хорошего не обещает. Современным же Крезам на это наплевать.

Наживая огромные деньги, они предаются такому разгулу, такому швырянью деньгами, которому не было еще примера во всей истории человечества. Эта картина напоминает пир во время чумы. Заправилы этой оргии, в большинстве случаев — пожилые люди, отцы семейств, как мой друг Костя, имеющие по несколько любовниц, проигрывающие, забавы ради, миллионные состояния по игорным притонам всего мира, плавающие на своих роскошных яхтах, летающие на своих собственных огромных аэропланах, они не имеют ни времени, ни желания заботиться о воспитании своих детей. И молодежь пошла по ею самой избранному пути. Читатели и без меня прекрасно знают, что представляет собой молодое поколение в наше лихолетье. Хорошим это не пахнет.

И вина за вполне возможные, даже кровавые последствия лежит не на детях, а на ОТЦАХ, и к таким родителям я причисляю и Костю. Не следил он за Харлашкой, вот и получился из его сынка такой непривлекательный тип. Вина же была всецело Костина.

Поэтому я все же решил защищать Харлашку от гнева его папаши, хотя и полностью заслуженного.

Костя продолжал молча расхаживать по кабинету. Молча и я, раскуривал длиннейшую гаванскую сигару, молчал и Харлашка, ожидая, как и я, взрыва родительского гнева. Но взрыва, по крайней мере сразу же, к моему изумлению, не последовало.

Костя внезапно остановился перед сыном и спокойным голосом в упор спросил его:

— Ты знаешь, ты отдаешь себе отчет в том, что своим идиотским поступком с рейсом в Шанхай ты чуть не погубил все наше дело?

— Тогда не знал, теперь знаю и прошу прощения за мою вину, — смиренно проговорил Харлашка. — Не понимаю только одного: зачем об этом говорить теперь? Ну, произошла ошибка, но ведь дело улажено...

— Да, улажено! — быстро и уже гневно проговорил Костя. — Улажено только благодаря твоему сыну, моряку, как я и твой крестный, и какими были твои деды и прадеды, в чьих жилах было больше морской воды, чем крови...

Такие люди боролись и продолжают бороться с грозной природой, созданной Творцом... Твои предки, разбуженные от крепкого сна в холодном, сыром кубрике, в кромешном мраке штормовой ночи, дико усталые от непосильной работы, не задумываясь об опасности для их жизни, быстро выходили на палубу, молниеносно взбегали по вантам, расползались по реям, крепили или убирали паруса, обледеневшие в ужасной буре в Черном или Адриатическом море. Они спасали экипаж, груз и самый корабль от верной гибели. Они бродили в туманах Англии с их пронизывающим до мозга костей сырым холодом, борясь с течениями и ветрами, чтобы не очутиться на опасных рифах...

Они пересекали экватор, изнывая от жажды, страдали от цинги и лихорадки, подвергались тысячам других опасностеи... Несмотря на все эти беды они любили море, которое сурово их учило, но и делало из них людей, всегда готовых на борьбу с любым

явлением природы, всегда готовых найти выход из положения или помочь своему ближнему в беде...

В твоих же жилах нет ни капли морской воды. Ты ненавидишь, ты даже презираешь море и моряков. Но это не мешает тебе быть торгашом и сутенером, живущим, да еще как!, на деньги, заработанные каторжным трудом моряками и от моря заскорузлыми, мозолистыми руками тружеников, а не такими, как твои, оманикюрованными пальчиками... И ты своим поступком чуть не лишил тысячи наших служащих возможности зарабатывать таким тяжелым и опасным трудом хотя бы на скромную жизнь... Не сын ты мне! — уже гремел Костя.

При этих словах Харлашка заметно побледнел.

— Ты думаешь, я не знаю, почему ты пошел на китайский контракт? Твои проигрыши в рулетку, в карты, твоя содержанка, твои кутежи в Монте-Карло стоили тебе огромных денег и ты их брал из кассы, надеясь покрыть их кушем со стороны за рейс в Китай. Растрата очевидна... Как ты ее пополнишь, не знаю, но помогать я тебе не буду. Выпутывайся сам!

— Как ты смотришь на это дело, Николай? — спросил он, обращаясь ко мне. — Иметь на старости лет сына — пьяницу, бабника, картежника, да еще не совсем чистого на руку!

— Наследственное все это, наследственное дело, Костя...

— Что?! П-а-ч-е-м-у?! — и Костя полез на меня, как в детстве, с кулаками...

Я спокойно отвел его кулаки в сторону:

— Картежником ты не был? Был, да и теперь не прочь перекинуться в картишки или в домино, если найдешь верную жертву. За бабами не волочился? Волочился. Сам хвастался своими неисчислимыми победами. Членом „Общества трезвости" состоял? Конечно, нет... Вечное море, вечные бабьи дела, вечные карты и, конечно, возлияния Бахусу... Чего же ты хотел и хочешь от Харлашки? Чтобы он был святым?

— Ну, а Надя, моя дочь? Ведь она совершенно другой человек! — защищался Костя...

— Воспитывать девушку легче, да еще с такой матерью, как Олимпиада, а Харлашка, как мальчишка, был „в отдельном плавании", так сказать. Рос с оголтелыми мальчишками-греками, сыновьями других афинских богачей, вот от этого и такие результаты. Вини самого себя, имей гражданское мужество сознаться в том, что большая часть вины за поведение Харлашки лежит на тебе самом! — заключил я.

— Что же теперь делать? — Впервые, пожалуй, в его жизни беспомощно спросил меня Костя. — Оставить дело в его руках нельзя, он опять споткнется. Что можно сделать, как ты думаешь? — приставал он ко мне.

— Растрату пополнить легко. Это вопрос простого счетоводства, — сказал я. — Харлашка с Аспазией уедут на остров Арубу, в наше новое отделение. Причина отъезда и ухода из главной конторы — их расстроенное здоровье. Аруба, как ты знаешь, — очень маленький остров около Венецуэли, где каждый шаг жителя острова или туриста известен всем и каждому... Там они образумятся и придут в себя.

— А дело?

— А дело будет возглавлять твой внук, мой крестник Николаки.

Костя внимательно и даже, показалось мне, с благодарностью посмотрел на меня и после небольшой паузы проговорил:

— Вот что значит общение с людьми! Ты один, с твоими русскими мозгами, никогда не придумал бы такого блестящего решения. Но благодаря дружбе со мной, греком, ты не только поумнел, но под моим руководством даже превзошел меня, твоего учителя! В твоем решении этой задачи сам царь Соломон — только диллетант, а все это произошло благодаря моему влиянию...

Костя всегда, при всех обстоятельствах, оставался самим собой. Но сейчас, искренне растроганный, он впервые в жизни обнял и расцеловал меня.

Пришедший в себя Харлашка поцеловал Косте и мне руку, вышел из кабинета и умчался в Афины, а мы с Костей разошлись по нашим спальням. Я долго не мог уснуть в эту ночь, размышляя о Костиной натуре и стараясь угадать, какой сюрприз выкинет Костя на свадьбе Николаки. Когда, успокоившись, я наконец почувствовал приближение сна, пели уже третьи петухи.



Через несколько дней, по программе, составленной Костей, состоялась свадьба Николаки. На торжество съехалась из разных мест Европы не только вся родня, но прилетели даже из Нью-Йорка с своей

супругой „граф" Лиманский, которым приглашение было автоматически послано Сенькой-Божемой, заведовавшим рассылкой свадебных извещений.

„Граф" был в то время главой крупного погребального треста, с отделениями во всех крупных городах Америки. Он привез молодым роскошный свадебный подарок, но его приездом Костя не был особенно доволен: погребальщик — и вдруг присутствует на свадьбе! А когда „граф" предложил свои услуги по распоряжению церемониалом свадьбы, Костя совсем рассвирепел и хотел даже отколотить и выгнать „сиятельную" чету из своего дома, но Сенька-Божемой удержал его от этого пагубного шага, доказав Косте весьма логично, что своим предложением „граф" хотел только способствовать пышности свадебного обряда. В декоруме обрядов у „графа" был большой опыт и, вообще говоря, свадьба близка к похоронам по самой своей природе: многие свадьбы это ничто иное, как хорошо завуалированные похороны. Косте пришлось согласиться с вескими доводами Сеньки-Божемой, и „граф" распоряжался всей церемонией.

Венчание состоялось в афинском соборе. Как озаренная светом тихой лампады, блистала светлой красотой Девы с иконы старинного эпирского письма Елена, невеста Николаки, Костиного внука и моего крестника. Сам Николаки, по желанию Кости, был почему-то одет в белую морскую форму коммодора. Его высокая, мужественная фигура вызывала восхищение всех присутствующих, и трогательный, доверчивый взгляд Елены, который она иногда бросала на Николаки, как бы говорил: „Где ты, Кай, — там и я, Кайя!" Такой трогательной в своей искренней любви была эта пара, что о ней потом говорили все Афины.

После венчания все приглашенные вышли из церкви, расселись в автомобилях и покатили в Кефиссию, к Косте. Там состоялся прием, на который было приглашено более 200 человек. Столы ломились от всякой снеди, горячей и холодной, рекой лилось шампанское. Костя познакомил меня с отцом Елены, пришедшим из рейса как раз за день до свадьбы. Старик был благообразен и красив красотой, исполненной сознанием собственного достоинства, которой обладают простые люди только двух стран в мире, — в Росии и в Греции. Мало этого — эти люди говорят чистым, правильным, цветисто-образным языком своих стран и их языку учились и наш великий Пушкин и некоторые из прославленнях поэтов древней Греции, как Эзоп и Февр. Отец Елены очень понравился Косте, и он, быстро проэкзаменовав его, с моего согласия тут же назначил его главным закупщиком корабельных материалов для всей нашей флотилии. Костя сразу учел выгоду, которую наше дело могло извлечь из наличия „своего глаза" в лице нового члена семьи на такой должности.

Во всем громадном доме царило самое неподдельное веселье. Пили, танцевали, объедались, поздравляли, целовались и в припадке греческого экстаза били посуду, что у потомков просвещенных эллинов считается выражением высшего счастья, восторга или преданности „по гроб жизни".

Танцевальный оркестр находился в главном зале, откуда музыка и пение по громкоговорителям передавалась по всем залам и комнатам виллы. Вдруг я увидел, как Костя, уже „под хмельком", подошел к оркестру, взял микрофон, и сейчас же везде прозвучал его голос: „ПРОСОХИ! ПРОСОХИ!" („Внима-

ние!"). Своим каторжным голосом наш амфитрион поблагодарил гостей за высокую честь, оказанную ему их присутствием на семейном торжестве, и просил всех быть и чувствовать себя „как у себя дома" и делать все, что им придет в голову.

Тут же, соединяя приятное с полезным, Костя объявил также, что по причине расстроенного здоровья Харлашка покидает свой пост в Афинах и уезжает для лечения на остров Арубу на неопределенный срок. Там он будет наблюдать за делами нашего арубинского отделения.

— Его место в Афинах ... — тут Костя, выдержав паузу, — продолжал: — Будет занято моим внуком Николаки. Кроме этого, Николаки, как дипломированный капитан дальнего плавания со стажем, получает звание коммодора всей нашей флотилии.

И Костя добавил, что отец Елены будет главным закупщиком всей нашей компании.

Раздались бурные аплодисменты, и Аринаки в приливе чувств схватил и грохнул об пол драгоценную севрскую вазу, за что сразу же был отчитан Олимпиадой: посуду, мол, бей, — не жалко, — но фарфор оставь в покое!

После короткой паузы Костя опять попросил внимания и уже тоном древней греческой траурной элегии заявил, что всю жизнь свою он провел в борьбе за существование, никогда не имея возможности отдаться изучению двух любимых предметов: философии и скульптуры. А в обоих этих областях, Костя в этом уверен, он обладает большим талантом, и талант его еще не заглох! Здесь он угрожающе посмотрел на улыбающуюся нахально физиономию Ари-

наки. Поэтому, так как он не молодеет, а стареет, он решил провести остаток дней своих в Париже, мировой столице искусств всякого рода. Там он сможет серьезно заняться и философией и скульптурой, а для совместной жизни и работы с ним поедет туда его старый и испытанный друг с самого раннего детства — Николай Иванович.

Я только возвел очи свои к небесам, но ничего сказать не мог.

— Там, — продолжал Костя, — он добьется успеха и, если хотите, даже мировой славы, не то, что здесь, в Афинах, общаясь с некоторыми дикарями вроде... — и Костя с презрением посмотрел на своего соперника Аринаки. — И вернется он домой только тогда, когда получит Нобелевскую премию, не раньше. А до тех пор — Париж, только Париж...

Опять раздались бурные аплодисменты. Костя положил микрофон и подошел ко мне.

— Ты что, „трекнулся" (на языке „высших сфер" Таганрога нашего детства „теркнуться" означало сойти с ума)? Какой Париж, в чем дело? Почему я должен ехать туда с тобой? — сказал я.

— Не гавкай по-собачьи! — не менее элегантно ответил мне мой друг, философ и скульптор. — Мы едем в Париж, понял? — И Костя зловеще вплотную подошел ко мне (в детстве это означало драку).

Я инстинктивно отодвинулся от него, вяло промямлив:

— В Париж — так в Париж! Мне все едино!

— То-то! — тоном победителя произнес Костя.

— А что я там, в Париже, буду делать? — поинтересовался я.

— Ты будешь писать там свою дребедень, а я своими философскими познаниями помогу тебе в твоих работах. Быть может на старости лет из тебя и выйдет какой-нибудь толк, но это покажет будущее, — закончил мой друг и ментор.

В это время был провозглашен тост и все присутствующие выпили последний бокал шампанского, „посошок в дорогу" уезжающим молодым. Все бросились к ним с пожеланиями, у всех были неподдельно-искренние счастливые лица. И когда Костя расцеловал Елену в последний раз, я заметил, что по его суровому лицу старого корсара текли слезы.

— Ты чего разнюнился? — спросил я его.

— А быть может мы справляем последнюю свадьбу в нашей жизни? — приглушенным голосом проговорил Костя и быстро отошел от меня.

Я прошел к себе в спальню, лег в постель, но, как и в памятную ночь объяснения с Харлашкой, долго не мог уснуть, раздумывая о многогранной природе Костиного характера и о том, что я буду делать с ним вместе в Париже.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

„ОСЕНИ ПОЗДНЕЙ ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ"...

Когда молодожены, Николаки и Елена, вернулись в Афины из свадебного путешествия и Николаки вступил в управление делом, Харлашка с Аспазией уже улетели на далекий остров Арубу приводить в порядок свое „расстроенное" здоровье, а мы с Костей начали готовиться к отъезду в Париж, столицу мира и искусств.

За несколько дней до того, как покинуть Афины, после ужина при мягком свете луны в уютном маленьком ресторанчике на берегу моря неподалеку от Пирея, допивая кофе, я задал Косте вопрос:

— А ты знаешь, куда мы едем?

— Что за идиотский вопрос! — почти обиделся Костя. — Конечно знаю: мы едем в Париж...

— Да, в Париж. Но знаешь ли ты, что это за город?

— Бывал там не раз и, конечно, знаю, что представляет из себя Париж... Но у тебя, в твоей несу-

разной башке появилась какая-то мысль, — поэтому выкладай без всяких проволочек, в чем дело!

— Да, появилась мысль, — сказал я, — и вот я и решил поделиться с тобой кое-какими соображениями по поводу Парижа. Живал я там не раз и подолгу и имею некоторый опыт в парижской жизни.

— Воображаю... — иронически протянул Костя. — Ну говори, в чем дело? Я весь — глаза и уши.

— Брось, Костя, валять дурака и слушай, что я тебе скажу. Париж — это особый город. Старинный, красивый, богатый, исторический, веселый, располагающий к себе и притягивающий. Там найдешь все, что хочешь, и жизнь в нем кажется воздушно-легкой. Но так кажется нам, людям состоятельным. Для бедняков жизнь там, как и везде, трудная и тяжелая. Там каждый день происходит много драм, много несчастий, но все это прячется за вечно веселой улыбкой Парижа...

Париж, как магнит, притягивает к себе много туристов и большое число международных богачей, которые швыряют деньги направо и налево, да и богатые французы тоже не стараются экономить, а живут вовсю. Красота города, его бульваров — парков, дорогие отели, шикарные рестораны и кафе, всегда полные веселой и беспечной толпой людей, живущих в свое удовольствие, порождают иллюзию райской жизни. И в Париж, как бабочки на огонь, устремляются люди со всех концов света, — хорошо пожить или же сделать здесь карьеру.

Особенно много приезжает в Париж женщин. Едут они сюда и из глухой французской провинции и из

других стран, едут, чтобы — буду говорить откровенно — выйти здесь замуж или же найти обеспеченного покровителя. Возраст таких „покровителей", в особенности — для богатых стариков, роли не играет. Даже столетний старец, передвигающийся в кресле на колесах, может найти себе здесь „подругу жизни" до самой смерти, е г о смерти, конечно.

Поэтому сезон охоты на солидную в финансовом отношении публику открыт здесь круглый год. Охотятся искательницы приключений, охотится и международное жулье, обретающееся в Париже тоже в немалом количестве... Ты слышал, как два авантюриста-иностранца умудрились продать одному крупному здешнему дельцу... Эйфелеву башню на слом?

— Ну это ты запускаешь! — не поверил Костя. — Но продолжай дальше, не волнуйся, я Эйфелевой башни не куплю. Она мне не нужна.

— Знаю, что ты ее не купишь. Но не в этом дело. Главная опасность заключается в охоте на богатых людей со стороны женщин. И охотой этой занимаются не коренные француженки, слава которых как любительниц флирта сильно преувеличена, они обыкновенно — очень порядочные женщины и достойные матери семейств, а заняты этим промыслом чаще всего представительницы парижского полусвета и даже смазливые горничные отелей. В охоте этой допускается все, в особенности, если дианы эти знают, что ты богатый человек. Средствами получить какой-то куш не брезгают, все допущено в этом спорте, — от шантажа до водворения в дом для сумасшедших, от пули до удара ножом. Женщины эти, чаще всего обитательницы таких мест, как, например, площадь Пигаль, — прирожденные актри-

сы. Почти всегда они стараются вызвать у своей жертвы жалость своими существующими или воображаемыми несчастиями. И когда жертва попадается на такую удочку, конец может быть очень печальным...

В продолжение всего своего существования Париж осчастливил и прославил множество людей, о которых потом писали, говорили и еще продолжают писать и говорить; но никто и никогда ничего не скажет о сотнях тысяч людских жизней, загубленных в Париже в стремлении чего-то здесь добиться.

С твоей африканской страстью к прекрасному полу и с твоими капиталами тебе, Костя, нужно быть крайне осторожным, если ты хочешь жить и работать в Париже. Повторяю: никогда и никому не говори о твоих деньгах. В особенности — женщинам, которых ты, конечно, встретишь и которые будут пытаться вызвать у тебя жалость и сострадание своей беспомощностью. На желании оказать помощь наш брат, мужик, часто и спотыкается в Париже.

Несмотря на твою рожу бандита, ты обладаешь мягким сердцем. Не гримасничай, — я это хорошо знаю! Посему, в Париже мы с тобой — капитаны дальнего плавания в отставке, понял? Живем на приличную пенсию, и никаких миллионов у нас нет. Ясно тебе?

— „Сам с усам!" Понял! Но откуда у тебя такое знание Парижа и его женщин? Живал ты там часто, это верно, и подолгу...

— Не спрашивай, Костя! Много у меня было в жизни такого, о чем ты не знаешь и даже тебе я о многих моих делах никогда не расскажу.

— Так я и знал, что в тихом омуте куда больше чертей, чем в двух Парижах, вместе взятых! Но даю тебе слово, что после твоего совета, как поступить с Харлашкой, я буду тебя слушаться . . .

— И неплохо сделаешь! Женщина в Париже всесильна, Костя. Из этой столицы она оказывает влияние даже на всю мировую политику. И если ты попадешь в лапы к такой особе, то и суд и право будут всецело на стороне женщины. Настолько сильна ее власть в столице мира, что даже на самом логичном в мире французском языке имя существительное, обозначающее самую сокровенную, интимную часть женской анатомии — мужского рода, в то время как та же часть у мужчины — женского рода. Мужчины — французы, быть может подсознательно, „сдались на милость врага" — женщины. С женщиной в Париже ты ничего сделать не сможешь. Еще раз скажу: будь осторожен, Костя, в твоих увлечениях, а не то — тебя выжмут, как лимон, а потом и поступят, как с выжатым лимоном, — и ты полетишь в помойку, а оттуда — в знаменитую клоаку Парижа, откуда нет возврата . . . Помни, что Парижу нужны молодость, здоровье, сила, деньги, тогда жизнь там прекрасна. Старики могут тоже вести там интересную жизнь, но только тогда, когда их страсти улеглись и они стали настоящими, а не „липовыми" философами, вроде тебя . . .

— Ну это мы еще посмотрим, кто — „липовый", а кто — настоящий философ, а сейчас — едем спать! — положил Костя конец разговору. Мы вышли и покатили в Афины.

❖

Через несколько дней мы улетели в Париж. На аэродром нас провожали Николаки, Елена и Олимпиада, которая по дороге туда посвящала Елену в „страшный" секрет приготовления „мусáки", который, тоже под „страшным секретом" дал ей в дни ее молодости хозяин кафе Амбразаки, что было в ярко-красочной Одессе, на углу Греческой улицы и Колодезного переулка.

Перед посадкой в самолет Олимпиада взяла с меня слово, что я буду смотреть за Костей, чтобы его там, упаси Боже, не накормили бы лягушками, как это сделали с нею. Она потом постилась сорок дней, исповедовалась и причащалась.

На прощанье Олимпиада заключила меня в свои могучие объятия, и мы с Костей направились к аэроплану.

Писать о Париже нужно или очень много и со знанием его истории, или вообще ничего не писать. К тому же о нем уже написано столько книг, что если их положить одна на другую, то такой столб перещеголяет своей высотой знаменитую башню Эйфеля. Поэтому я воздержусь от описания Парижа. Скажу только, что, когда мы с Костей туда приехали, там цвели каштаны. В эту пору Париж очарователен до фееричности. Ярко-зеленая листва, нежно-кремовый цвет пирамидальных цветов каштановых деревьев на бульварах, широких улицах и в парках этого изумительного города, веселая, разодетая толпа, фланирующая повсюду, оживленно щебечущие женщины, все это очаровывает приезжающих в Париж в это время года. В эту пору, по-моему, Париж не только омолаживает стариков, но даже и мертвого может поднять со смертного одра.

Такое же магическое влияние Париж возымел и на Костю. Он без умолку говорил, строя планы на будущее и оживленно жестикулируя, по греческой манере, и вызывал этим удивленные взгляды выдержанных французов.

Хотя я говорю по-французски убийственно, Костя изъясняется на этом благодарном языке еще хуже меня, почему я и стал официальным чичероне и переводчиком моего друга.

По его приказу я нашел для нас обоих небольшую, уютную квартиру в Латинском квартале, на улице Сен-Сюльпис. Костя, философ и будущий скульптор, настаивал на том, чтобы мы жили среди настоящей богемы. Иначе нельзя! Кроме того, Костя знал понаслышке, что все большие художники и скульпторы всегда жили и живут в очень невзрачных мансардах, и чем мансарда беднее и грязнее, — тем лучше. Только из таких логовищ и выходят знаменитые артисты...

Я не стал с ним спорить, это было бы бесполезно, и нашел ему студию, которой не позавидовали бы даже персонажи „На дне" Максима Горького, а предпочли бы ей свою ночлежку.

Узкая уличка неподалеку от Сены, почему-то называющаяся улицей „кошки, которая удит рыбу". Старый, замызганный дом, помнящий, наверное, еще времена Людовика 14-го. Немытые, казалось, с тех же времен окна. Ужасно грязный вход с самыми разнообразными, но одинаково неприятными запахами. Лестица и коридоры, очевидно никогда не испытывавшие прикосновения метлы, скупо освещенные подслеповатыми лампочками. Когда юркий францу-

зик, агент по найму квартир, открыл дверь и мы вошли в студию, такую же грязную и с самыми примитивными удобствами, но довольно светлую, Костя пришел от нее в дикий восторг. Вот здесь он будет творить такие произведения, о которых заговорит весь мир!

Не торгуясь, он согласился на заломленную цену, и мы пошли в контору, где Костя подписал контракт на два года, получил ключи и потащил меня обратно в это логово. Консьержка дома, одноглазая корсиканка, щедро получившая „на-чай", сразу же согласилась быть уборщицей в этой „мечте художника". Костя дал ей денег, и она помчалась куда-то сломя голову. Когда она вернулась, вооруженная всеми инструментами для чистки и мойки, Костя и она совместно приступили к уборке этой Авгиевой конюшни и в конце концов привели ее в более или менее приличный вид. Оставалось только ее покрасить, и оборотистая консьержка сразу же нашла и маляра, — своего мужа. Не доверяя никому, Костя возился с ним вместе два дня, и как бы критически я ни относился к этому делу я все же должен признать, что студия вышла на славу.

Затем Костя потащил меня покупать какие-то специальные столы на треногах для скульптора, нашел электротехника провести свет, а потом мы купили и вдвоем подняли на четвертый этаж (это в наши-то годы!) несколько пудов какой-то массы, завернутой в мокрые тряпки. Закончив все это, Костя объявил студию официально открытой.

Не хватало только профессора скульптуры. Но нашли и его. Он был, конечно, русским. Талантливый, как дьявол, извеестиый буквально всему миру

(я не шучу), лепивший самых знаменитых деятелей Европы и Северной и Южной Америки. Человек этот зарабатывал и зарабатывает огромные деньги, но всегда в долгу как в шелку, и в карманах — „а ни копья", как когда-то мы говорили в Одессе. Причиной этому обстоятельству были женщины и вино. Во хмелю он буянил и устраивал скандалы, за которые его таскали по судам, а это тоже стоило больших денег. Поэтому он и был всегда без денег, но всюду пользовался широким кредитом. Я нашел его как раз в момент острого безденежья в Париже. Он хорошо знал меня, был знаком с Костей и сразу согласился на мое предложение. Как скульптор и как преподаватель он был исключительно талантлив.

С ним Костя и начал свою карьеру ваятеля, часто прерываемую серьезными возлияниями Бахусу ученика вместе с учителем.

Парижская жизнь оказала свое волшебное влияние и на старика Костю. Несмотря на свой возраст он преобразился, горел желанием работать, творить что-то новое в скульптуре, посвящал меня в свои планы. Я же вел спокойную стариковскую жизнь. Много читал, иногда писал, слушал интересовавшие меня лекции. Изредка, с Костей и его ментором мы „выходили в свет", шли в какой-нибудь кабачек богемы, но богемы изысканной, так как Костин учитель, несмотря на свое скромное происхождение из Минска, был отчаянным снобом. Он требовал и заказывал повсюду все самое лучшее и дорогое, начиная от костюмов и кончая маркой шампанского и не где-нибудь в дешевых притонах богемы, а в самых изысканных магазинах и ресторанах, где завсегдатаями были художники, артисты, писатели и вообще люди с мировыми именами.

Там мы ужинали, выпивали и вели длинные разговоры на любые темы, как все русские, много говоря о России. Иногда выручали нашего Бенвенуто Челлини из Белорусии от посягательств на его персону за нахальное поведение с людьми, по его мнению — к богеме не принадлежавшими.

Костя, как подобает всякому ученику, во многом подражал своему учителю. Считая себя полноправным членом богемы, он презрительно относился к людям, не принадлежавшим к этому избранному кругу.

После нескольких месяцев упорного труда, Костя вылепил какую-то статуэтку. Она даже мне понравилась. Пришел профессор со всеми признаками самого дикого похмелья, посмотрел на творение моего Фидия и, как мне показалось, пришел в восторг:

— Костя! После этой работы я объявляю тебя вполне созревшим скульптором. Мои ежедневные занятия с тобою прекращаются. Отныне работай сам, а я буду приходить к тебе раза два в неделю и давать тебе нужные указания! — И он расцеловал покрасневшую от удовольствия физиономию моего друга. — Пойдем выпьем за твой успех!

Втроем мы пошли в кафе. Там, сидя за столиком, профессор, с жалобной миной на лице, что-то сказал на ухо своему теперь уже не ученику, а полноправному скульптору. Костя вытащил из кармана чековую книжку и выписал чек на такую сумму, что я чуть не подавился глотком красного вина! Опьяненный успехом Костя денег не пожалел.

Выйдя из кафе, мы распрощались с профессором и пошли к себе домой, откуда Костя сейчас же позвонил по телефону в Грецию, чтобы обрадовать Олим-

пиаду своим успехом. Я слушал их разговор по добавочному приемнику, который является неотъемлемой частью французского аппарата. Олимпиада спокойно выслушала хвастливую речь Кости о его достижениях и затем сказала:

— Я очень рада, что вы (когда Олимпиада обращалась к Косте на „вы", это означало, что будут и ругань, и угрозы) сделались скульптором. Пригодится вам это занятие в будущем и еще как пригодится!

— Это почему же? — спросил озадаченный Костя.

— Да потому что, если я узнаю, что вам будут позировать молодые, да еще голые девки, так, лягушки или не лягушки, я прилечу в Париж и так изуродую вашу богопротивную морду, что вас ваша родная мама не узнает. Придется вам тогда делать эстетическую операцию вашего драгоценного личика, и в этом случае вы, как скульптор, поможете врачам советом, как восстановить вашу личность... Старый дурак ты, вот что! Скоро прадедом будешь, а тебя черти на скульптуру понесли! Мало этих статуй стоит на бульварах в Афинах, уже 2,000 лет и их никто не покупает, а кто у тебя, идиота, их купит? Тьфу! — и Олимпиада с треском повесила трубку.

Костя беспомощно развел руками:

— Вот видишь, какая у меня жизнь? Никто меня не понимает, даже моя собственная жена!.. Идем покупать мне фуфайку, такую, какие носят все знаменитые художники. Я видел ее в витрине одного магазина.

— Идем, идем, Антокольский, успокойся! Я вот тоже согласен с Олимпиадой: попадешь ты со своей

скульптурой в такой переплет, что лучше и не говорить...

— И ты, Брут! — щегольнул Костя знанием древнеримской истории. — Идем, идем, старый дьявол! И связала же меня судьба с таким типом!



В чем нельзя было упрекнуть Костю, — так это в неуменье одеваться. Еще почти в детстве нас обоих „выперли" из мореходки за то, что мы явились на один из балов не в положенной форме, а в визитках и полосатых брюках, в цилиндрах и с огромной хризантемой в петлице. Много лет спустя, когда у нас появились деньги, Костя всегда одевался изысканно, но с подчеркнутой небрежностью, будь то форма капитана или штатский костюм. А когда Костя сошелся со своим профессором скульптуры, одевавшимся у самых дорогих портных, конечно — большей частью в кредит, Костя последовал его примеру. И теперь, официально признанный вполне законченным художником, даже фуфайку богемы Костя решил купить в самом дорогом парижском магазине. „Поперлись" мы в этот магазин. Фуфайки там не оказалось, последняя была только вчера продана. Нам показали другие фуфайки, но Косте они не понравились, и мы начали обход всех других магазинов, но такой фуфайки, как хотел Костя, нигде не находили. От этого „хождения по мукам" у меня уже заболели ноги и заныли мозоли, но несмотря на это и на мои просьбы взять что-нибудь другое Костя отказывался. В магазине Ланвен такой фуфайки тоже не оказалось, но любезный продавец, англизированный француз, указал нам еще один магазин для туристов, где, быть

может, этот предмет Костиного вожделения и найдется.

Пришли мы туда, и я сразу „плюхнулся" в кресло. Костя по-английски объяснил продавщице, в чем дело. Это была очень хорошенькая женщина лет 30-35, с капризно вздернутым носиком, изящной фигуркой и замечательно красивыми руками. По-английски она говорила очень хорошо, с лондонским акцентом. Она принесла Косте целую кучу фуфаек, и начались поиски. Все было не то, чего искал Костя.

Вдруг Костя обратился ко мне по-русски:

— Объясни ты ей, этой публичной девке, по-французски, чего я хочу, она, наверное, не понимает мой английский язык!

(По-английски Костя говорил свободно, но с ужасным произношением жителей восточной стороны Нью-Йорка).

Едва только он успел произнести эти слова, как продавщица выпрямилась, скрестила руки на груди и с потемневшими от гнева глазами чистейшим русским языком выпалила:

— Послушайте вы, господин хороший, я вожусь с вами уже около часа, устала и все же, желая вам угодить, продолжаю работать, как лошадь, и за это я — публичная девка! Я — мать двух детей! — И с этими словами она закатила Косте такую оплеуху, что он еле удержался на ногах.

Впервые в жизни Костя потерял самообладание. Покраснев, как кумач, он смущенно пробормотал:

— Извините, я не знал, что вы русская!

— Я не русская, а француженка, по отцу, но мать у меня была русская. Я говорю по-русски, по-немецки, по-английски, по-китайски, по-японски и, конечно, по-французски. Работаю здесь, как вол, а вы, очевидно богатый турист, меня публичной девкой обзываете!

И с этими словами она опять чуть не ринулась на Костю. Тут уж пришлось мне вмешаться в это дело и я кое-как вытащил Костю на улицу, где он не сразу смог прийти в себя от еще никогда не испытанного потрясения. Не успели мы отойти от магазина, как он вдруг произнес:

— Я вернусь в магазин, так оставлять это дело нельзя. Нужно его уладить. Ты иди домой сам, меня не ожидай. Я приду домой поздно!

И, оставив меня на улице с раскрытым от удивления ртом, Костя круто повернулся и быстрыми шагами направился к магазину. Махнув рукой, я взял такси и поехал домой.

Во сне я смутно слышал, как Костя вернулся домой. По-моему это было уже под утро. Не будя меня, он прямо прошел в свою комнату, разделся и лег спать.

Проснулся он поздно и пришел ко мне в комнату. Я бросил писать и приготовился слушать рассказ о новой победе: но меня поразило лицо Кости, — в нем не было привычной уверенности в себе не то пирата, не то закоренелого каторжника, оно было каким-то одухотворенным и просветленным, а глаза сияли тихой радостью, излучая некий ласковый свет. Такого выражения на лице Кости я не видел ни разу за всю мою долгую совместную жизнь с ним. Не было в нем и обычной бравады.

Он молча сел на мою уже приведенную в порядок кровать.

— Что нового, Костя? — Прервал я молчание.

— Вот именно, есть что-то новое, мне непонятное... Впрочем, я вру: со мной случилось вчера вполне понятное, короче говоря — я влюблен впервые в моей жизни...

Я расхохотался.

— Слушай, Костя! Брось ты эти штуки. Я их слышу от тебя всю мою жизнь, и имя им легион...

Костя пристально посмотрел на меня:

— Вот ты корчишь из себя писателя...

— Костя! Я не „корчу" из себя писателя, я только маленький рассказчик.

— Какая разница? Не в этом дело, — сказал Костя. — Даже как у рассказчика у тебя совершенно отсутствует наблюдательность.

— Почему ты так думаешь?

— Очень просто: ты знаешь, что во всей моей жизни я никого не любил по-настоящему. Сотни, возможно тысячи женщин, которых я знал по всему земному шару, были всего лишь жрицами продажной лябви, той, что всегда находит наш брат моряк в скитаниях по бездорожным океанам всего зеемного шара. Я создавал себе иллюзии, что я побеждал женщин, что они в меня влюблялись, но на деле это было не так. В отношении настоящей, духовной, если хочешь, любви я несмотря на мои, или наши, миллионы был нищим... Ты этого не замечал?

— Нет, — согласился я.

— Вот поэтому я и сказал тебе, что у тебя нет наблюдательности. По крайней мере, ее не было по отношению ко мне.

— Ну предположим. А что же случилось, что теперь заставило тебя влюбиться в эту женщину? — спросил я.

Костя на минуту задумался. Потом, как бы собравшись с мыслями, он продолжал:

— Хотя я и живу во Франции недолго, я успел уже увидеть, что французы — комерсанты, большие и маленькие, как дельцы — народ серьезный. Для них потерять клиента — это убыток для дела. А еще и оскорбить клиента действием, это грозит виновному служащему увольнением, и, вдобавок, с плохой рекомендацией. Поэтому я и вернулся в тот магазин, чтобы загладить эту неприятность, спасти Людмилу от потери работы. Ведь, как она сказала, у нее двое детей и кормит их она одна.

— А, ты уже знаешь и имя этой продавщицы!

— Да, — тихо ответил Костя. — Действительно, когда я вошел в магазин, хозяйка что-то быстро и сердито говорила Людмиле.

Я подошел к ним, по-английски принес мои извинения и попросил показать мне снова все фуфайки. Людмила принесла их около сорока штук и я, не спрашивая цены, купил их все. На хозяйку это произвело сильное впечатление, она начала мило улыбаться и делать комплименты мне и Людмиле, которой я сказал, на этот раз по-русски, что буду ожидать ее у входа в церковь св. Мадлен сегодня в семь

с половиной вечера. Я очень просил ее прийти туда, и она согласилась.

Запаковали мне эту кучу фуфаек, я вышел из магазина, взял такси и поехал к мосту св. Михаила, где всегда много голытьбы, и там раздал этой братии все фуфайки. Потом я бродил по городу, не помню уже, где и что я еще делал, но в семь с половиной вечера я уже был у входа в церковь.

Через несколько минут появилась и Людмила, простенько, бедно, но со вкусом одетая. Она застенчиво протянула мне свою очень красивую руку и, как показалось мне, робко попросила извинения за ее поступок. Мы зашли в ближайшее кафе, что-то выпили, но когда я пригласил ее поужинать со мной, она, поблагодарив, отказалась, ссылаясь на то, что ей нужно спешить домой кормить детей и бабушку. А если я хочу, она приглашает и меня поужинать у нее чем Бог послал, лишняя тарелка всегда найдется. Я согласился, и мы поехали к ней домой, в бедненькое предместье.

Когда мы вошли в старый дом и поднялись на третий этаж, дверь квартиры нам открыли две маленькие очаровательные девочки. Ветхая, но очень милая старушка, бабушка Людмилы, слегка недоуменно посмотрела на меня, когда мы вошли в переднюю. Людмила меня представила ей, мы прошли в столовую, бедную, но в отличном порядке, сели за накрытый стол и уже не помню чем поужинали.

Старушка рассказала мне, что она родом из Благовещенска и там же вышла замуж за офицера, который уже в чине полковника, после окончания гражданской войны в Сибири, добрался до Шанхая с нею

и дочерью и там где-то работал. Дочь подросла, вышла замуж за инженера-француза, появилась на свет и Людмила. Жили они хорошо, но когда японцы занимали Шанхай, в это время погибли и отец и мать Людмилы. Полковник, ее муж, умер еще раньше. Затем она со взрослой уже Людмилой чудом добрались до Франции...

В этот момент в столовую вернулась куда-то выходившая Людмила и, мило улыбаясь, сказала бабушке, что пойдет немного погулять со мною. Мы вышли на улицу и медленно пошли вдоль береега Сены.

— Бабушка уже, наверное, рассказала вам всю нашу эпопею? — спросила меня Людмила.

— До вашего приезда в Париж только, — ответил я. — Но мне хотелось бы знать и продолжение, вот хотя бы до сегодня, когда вы меня проучили за мое хамское поведение.

— Вы знаете наше русское „кто старое помянет"... и так далее, так лучше не будем говорить об этом случае, — улыбаясь проговорила Людмила. — Хороша была и я, ударив вас! И если бы лишилась работы...

— Ну, хорошо, забудем это! Но рассказывайте мне о вашей парижской жизни...

— Да что же о ней рассказывать? Обыкновенная история бедной молодой девушки в этом Вавилоне: благодаря знанию иностранных языков я легко нашла работу, я ведь — француженка по отцу, вот меня сразу и приняли на службу в банк. Потом познакомилась с одним беженцем, хорватом, и мы полюбили друг друга. Поженились. Он был инженером,

неплохо зарабатывал. Одна за другой родились девочки. Сразу после этого его отношение ко мне резко изменилось, он стал подозревать меня в несуществовавших флиртах и романах, устраивал мне сцены ревности и в конце концов бросил меня на произвол судьбы. Как я узнала потом, он нашел себе какую-то богатую хорватку и живет с ней, начав процесс о разводе. При помощи лжесвидетелей он нашел якобы доказательств моей распутной жизни и моего пристрастия к алкоголю, и мне пришлось истратить все мои сбережения на развод. Ведет его неважный молодой адвокат, и я не знаю, чем все это кончится. Муж хочет отобрать у меня детей, но этого не будет никогда! Развод я ему дам, но девочек не отдам ни за что! Я готова пойти на все, чтобы не отдать моих малюток этому типу. Процесс страшно запущенный, сложный, но я отдам все, чтобы его выиграть... Если будет нужно, — проституткой стану, но детей вырву из рук этого негодяя! — И Людмила заплакала...

Я ее успокаивал, уверяя, что все образуется, рассказал ей о моей жизни...

— Что ты, идиот, рассказал ей? — заорал я на Костю.

— Не волнуйся, пожалуйста! Все по твоему рецепту: что я одинок, что...

— Боги! Какой ты идиот, Костя! Ну, а дальше что?

— Что живу я с тобой, что мы — моряки в отставке, что я занимаюсь скульптурой и недурно зарабатываю, что, если ей будет нужна помощь, я готов ей помочь... Она благодарила меня, сжала, как ребенок, мою руку, перестала плакать...

— В каком отеле ты ночевал с нею? — невольно вырвалось у меня.

В один миг Костя преобразился в тигра. Он подскочил ко мне и своими железными пальцами схватил меня за горло.

— Если ты не возьмешь своих слов обратно, я задушу тебя!

— Беру, беру! — прохрипел я. — Но ты сам виноват в том, что я задал этот вопрос, ты так много говорил мне о победах над женщинами! — уже спокойно сказал я.

— Так было, но так больше не будет! — заверил меня Костя. — Конец моим похождениям! Я проникся жалостью к этому почти ребенку, но уже матери, защищающей своих детей, работающей, как вол, чтобы прокормить семью, и тратящей свой скудный заработок на плохого адвоката. Я помогу ей выйти на дорогу, стать человеком... Ты, наверное, хочешь спросить меня, почему? Отвечу: я впервые в жизни полюбил по-настоящему. По-настоящему, ты понимаешь? И совершенно неважно, будет ли она принадлежать мне как женщина или нет, — я ее люблю, понял ты?!

— „Расскажите вы ей, цветы мои",... — не выдержал я. Видеть Костю в роли влюбленного мне было не по силам.

— Ты опять за свое?! Что я тебе сказал, а? — и Костя угрожающе подошел ко мне.

— Хорошо, хорошо, я только пошутил и нечего ерепениться!

— Шутки неуместные! — не успокаивался Костя. — Сейчас ты просто не понимаешь моих переживаний, но когда-нибудь поймешь, и тебе будет стыдно. А пока — скажи, что мне делать?

— Не знаю! Ты лучше спроси Олимпиаду, —

у нее скоро будет правнук, и она может дать тебе хороший практический совет...

— Не будь идиотом более того, чем тебе положено Господом Богом. Что мне делать, говори! — приставал ко мне Костя.

— Не разводиться же тебе с Олимпиадой, когда у вас скоро будут правнуки. А если бы даже ты и развелся и женился бы на этой женщине, которая по виду моложе тебя лет на сорок, то на сколько лет хватит тебя как пламенно любящего мужа? А потом что? Нужен ты ей, чтобы тебя возить в коляске, как ребенка, и кормить манной кашкой? Не думаю... Вот что, Костя: ты проникся глубокой жалостью и полюбил эту несчастную женщину. Хорошо! Так помоги ей выпутаться из тяжелого положения, дай ей возможность зажить по-человечески и уйди от нее. Сделай ей подарок, без всяких возмещений, — пусть она всю жизнь верит, что есть еще на нашей планете, на проклятой земле, хорошие люди, что не все еще потеряно, что можно еще жить и надеяться...

— Ну, а мне что делать? Ведь пойми ты, что я ее люблю!

— А тебе, Костя, нужно отойти от зла, сотворив благо, и жить весь остаток твоей жизни влюбленным в любовь, пребывать в золотых грезах, так сказать,

и благодарить судьбу за то, что она дала тебе возможность узнать, что такое любовь.

— И проливать слезинку над возможно потерянным кратковременным счастьем? — спросил Костя.

— Хоть бы и так! Это гораздо лучше, чем получить внезапный жестокий, сокрушающий удар...

— Благодарю за совет, но лучше я сам посмотрю, что нужно будет делать в дальнейшем. А сейчас я пойду спать, завтракай сам. Разбуди меня в пять часов вечера.

— Есть, капитан! Разбужу.

И Костя пошел к себе в спальню.



Прошла неделя. Костя почти не бывал дома, что-то делал, суетился, но по выражению его лица он был действительно счастлив. Он был необыкновенно ласков со мной и, как мне казалось, даже заискивал передо мной, старался расположить меня к себе, но о Людмиле не говорил ничего. Так ведут себя маленькие дети, ожидая выговора за провинность или готовя какой-то сюрприз старшим.

Другим, совершенно другим стал человеком мой Костя, в прошлом — пират и великий дон-жуан.

В конце второй недели он торжественно вошел ко мне в комнату, удобно уселся на моей кровати и поведал мне о том, что при помощи одного крупнейшего адвоката Людмила получила и развод, и детей, и даже деньги на их содержание от своего бывшего мужа. Это одно. Во-вторых, — внеся в дело

свою часть, Людмила стала совладельцей магазина, в котором она работала. В-третьих, — что она переехала на новую квартиру, и, наконец, в-четвертых, — что она хочет познакомиться со мною.

Я не спросил, откуда, с каких небес упала к ногам Людмилы такая манна и только просил поблагодарить за желание увидеть меня.

Знакомство состоялось в скромном, но дорогом ресторане „Ля Палетт", что на бульваре Монпарнасс, интелектуальном центре Парижа. Людмила была одета в простое, но дорогое платье. Прическа ее была, по-видимому, сделана опытным и дорогим парикмахером, изменилось и все ее лицо, над которым, наверное, тоже поработали в институте красоты. На очень красивой руке блистало изящное, дорогое кольцо с сапфиром, любимым камнем Кости. „Значит, — подумал я, — Костя здесь приложил свою руку". Вообще, в сегодняшней Людмиле нельзя было узнать той скромной и просто одетой миловидной продавщицы магазина, в котором Костя покупал себе фуфайку.

Теперь она была тонной парижанкой, обладающей известной долей специального парижского шика, который отличает женщину Парижа от всех других женщин. Ее слегка экзотическое лицо с его матовой бледностью и ярко-красными губами останавливало взоры многих мужчин, проходивших мимо нашего стола.

Я был представлен ей и мне было предложено место по ее правую руку. Костя с профессором сидели напротив нас и, оба уже слегка под хмельком, говорили о скульптуре. Я заговорил с Людмилой. Она оказалась довольно культурной женщиной, но

в разговоре перескакивала с одного предмета на другой и в ней чувствовалась какая-то нервная напряженность, свойственная людям, не особо уверенным в себе и быстро меняющим свое мнение. И в то же время в ней было заметно упрямство, не настойчивость, а именно упрямство и склонность настаивать на своем. Я также обратил внимание на то, что пила она наравне с нами, мужчинами. Показалась она мне и слегка капризной, все время меняющейся женщиной, но в общем производила впечатление хорошего человека, но для меня такая женщина могла быть ангелом, а через несколько минут — сущим дьяволом а такого рода представительницы прекрасного пола никогда не были „героинями моих романов". Положиться на них вполне, быть в них уверенным было невозможно.

Костя прямо сиял от радости, от счастья, испытываемого им, как он говорил, впервые в жизни. Я же был искренне рад за него, а что будет дальше, — увидим! Пусть наслаждается своим счастьем.

После ужина Костя поехал провожать Людмилу, а я вернулся домой.

Вернулся Костя на нашу квартиру уже утром, когда я сидел и пил кофе.

— Ну как тебе понравился Людмила? — спросил он меня.

— Ничего себе, довольно культурна. Неплохой человек...

— „Ничего себе, довольно культурна!" — передразнил он меня. — Ты ее еще не знаешь, а когда узнаешь лучше, то поймешь, почему я ее полюбил и почему я так счастлив.

— Надеюсь и рад за тебя, — сказал я и осторожно добавил: — но ты, случайно, не проговорился ей о нашем настоящем?

— Не волнуйся, учитель! Я ей сказал, что у меня хорошая пенсия, есть сбережения и что я неплохо зарабатываю как скульптор. За мои работы американцы платят мне хорошие деньги.

— Ну, слава Аллаху! Продолжай идти таким курсом и, возможно, все образуется, но это только „возможно!" — сказал я.

Как раз в это время раздался телефонный звонок. Звонила из Афин Олимпиада. Она радостно сообщила, что Костя через четыре месяца будет прадедом. И чтобы мы оба были бы к рождению ребенка в Афинах. Я опять должен быть крестным отцом. Третье поколение Костиного потомства!..

Костя что-то ответил ей и повесил трубку. Потом он долго смотрел на меня грустным, затуманеным взором, молча встал и быстрыми шагами вышел на улицу.



Время в больших городах быстро летит туда, откуда никогда больше уже не вернется. Не успеешь оглянуться, как неделя убежала и началась другая, кончающаяся так же быстро, как и предыдущая, и так без конца. Быстро пробежали два месяца после моего знакомства с Людмилой, Костя много работал у себя в студии, иногда даже ночевал там и, конечно, виделся с Людмилой каждый день. Иногда мы скромно ужинали втроем, и я невольно

замечал, что Людмила делалась какой-то независимой в своих суждениях и в отношении к Косте. Не ушло от моего внимания и то, что и Костя становился слегка нервным и озабоченным, старавшимся, как мне казалось, что-то найти, но о своих думах и настроениях он ничего мне не говорил. Молчал и я.

Однажды после обеда Костя пришел ко мне в комнату. Он сел, по привычке, на мою кровать, раскурил свою трубку и без обиняков начал:

— Ты знаешь, чего хочет от меня Людмила?

— Нет, не знаю.

— Она хочет, чтобы я на ней женился, — спокойно проговорил Костя.

— ? ? ?

— Ради Бога перестань быть идиотом! Ты прекрасно знаешь, что я не могу этого сделать, как бы я ее ни любил. Ведь это же невозможная вещь, сам понимаешь. И бросить ее я тоже не могу, „заела" *) она меня сильно... Не знаю, что мне делать. Как ты думаешь, что нужно делать в моем положении?

— Теперь поздно давать советы. Нужно было сказать ей в самом начале твоего романа, что ты женат. В таком случае было бы легче развязать этот Гордиев узел, а теперь его нужно рубить, Костя. А как это сделать, я, право, не знаю. Какие основания она представляет тебе для женитьбы на ней?

---

*) „Заесть" — на морском жаргоне „затянуть", „задержать", „застрять" и т. д.

— Во-первых, — дети. Им нужен отец, пусть даже неважный отец. Для ребенка это большая драма, когда в школе другие дети его спрашивают: „Где твой отец, что он делает?", а он, бедный, не знает, что сказать, сгорает от стыда, плачет в одиночку и даже с матерью не может поделиться своим горем. Это — одно, — и я понимаю всю грусть такого положения, но что скажут мои дети, если я потребую развода у Олимпиады?

— Не валяй, Костя, дурака! Это невозможная вещь, ты сам знаешь.

— Да, сам знаю, — тихо промолвил Костя. — Но вот что мне делать, — я не знаю. Какой выход из этого положения ты можешь мне указать?

— Ты задаешь мне непосильную задачу, Костя, — сказал я. — Но дай подумать. Быть может я и придумаю что-нибудь.

Размышляя, как помочь моему другу, почти брату, который, беспрерывно куря, с тревожным ожиданием и надеждой смотрел на меня, я не мог придумать ничего иного, как посоветовать ему сказать Людмиле всю правду...

— Ты с ума сошел! — возмутился Костя. — Скажи я ей всю правду, она ведь может пойти на любой скандал, от судебного иска до шантажа, и это — по твоим же собственным словам. Помнишь, что ты мне говорил о жизни в Париже?

— Конечно, помню. Но почему у тебя вдруг такие суждения о Людмиле? Ведь ты же говорил, что она — хороший, добрый человек.

— Да, она хороший и добрый человек, но она и мать, ты это понимаешь? Она не хочет быть со-

держанкой, ей нужен муж, отец ее детям и обеспеченный человек, потому что ей нужна уверенность в будущем.

— Знаешь что, Костя, — я все-таки думаю, что единственный выход из положения — это сказать ей всю правду. Добавить, что ты будешь ее мужем „де-факто", не „де-юре", что ты ей все дашь, будешь жить в Париже и лишь изредка ездить в Грецию по делам и так будет продолжаться до конца дней твоих. А на этот случай ты хорошо ее обеспечишь. Если она тебя по-настоящему любит, то она пойдет на это.

— А если нет? Если она не согласится на такое предложение?

— Тогда дело простое: она — человек, не достойный твоей любви, и ей просто нужны деньги. Она уже имеет часть в деле, где она работает, это уже не плохо. Оставь ей приличную сумму денег, а нам с тобой нужно будет удирать в Грецию и там рассказать всю правду Олимпиаде. Это я беру на себя.

— Ч-т-о-о ? !

— Да, да, Костя, рассказать всю правду Олимпиаде. Хочешь, я это устрою? Ты знаешь, как Олимпиада любит меня и доверяет мне. Ну дадим Людмиле еще какую-то сумму денег, которой ей хватит на всю жизнь, с деньгами она найдеет себе молодого мужа и все будет в порядке . . .

— А я как? Ведь я не могу теперь жить без нее!

— Это уже другое дело. Даже если ты ее безумно любишь, после того как ты ей расскажешь всю правду и она не согласится быть с тобою, — значит

ей нужны деньги, это все. Ты что же, хочешь провести уже жалкий остаток твоей жизни каким-то остолопом?

— Не знаю, но я постараюсь придумать что-нибудь, что даст мне возможность быть с нею...

И Костя вышел из комнаты.



Недели через две после этого разговора, так и не посвятив меня за это время в свои планы, Костя пригласил меня однажды поужинать с ним и Людмилой в известном в Париже русском ресторане с музыкой, певцами и танцорами. Там, едва мы уселись за столик, Костя с торжественным видом вручил Людмиле довольно объемистый запечатанный конверт и сказал, что это — приготовленный для нее сюрприз. Он попросил Людмилу не распечатать пакета до возвращения домой. К моему большому удивлению, Людмила не проявила здесь никакого обычного женского любопытства, такого понятного в этом случае, и довольно равнодушно спрятала конверт в свою сумочку.

То, что произошло в последующие минуты и, затем, в продолжение всего дальнейшего вечера, было началом многих событий, в корне изменивших все течение нашей жизни в Париже. Мы еще допивали перед ужином наше виски-сода, когда внимание всех присутствующих было внезапно привлечено появлением в ресторане шумной компании разжиревших греков, среди которых мы увидели ... Аринаки, ярого, хотя и тайного врага Кости, давнего его конкурента во всех делах и, в особенности, страшно зави-

довавшего успеху Кости у женщин. Аринаки был женат уже несколько раз, но сейчас, я это знал, он только что развелся с своей последней женой.

Уже одно появление Аринаки здесь сулило сплетнями в Афинах о Косте и Людмиле, но, кроме того, его, дьявола, посадили с его приятелями за соседний с нашим столик, и нам пришлось перезнакомиться, отвечать на приветствии, а Аринаки буквально впился глазами в Людмилу. Я заметил это и подумал: „Ну теперь быть беде!" Какой беде, я не знал, но я ее предчувствовал...

Аринаки сразу начал расспрашивать Костю о пароходных делах, о фрахтах и т. д. Костя отвечал ему, что плавать перестал, что занимается только скульптурой, но Аринаки, как мне показалось, понял, что Костя хочет что-то скрыть, и стал нарочно его расспрашивать об Олимпиаде, о Харлашке, говорил, что из Николаки выйдет толк и так далее. На все вопросы Аринаки Костя только отмалчивался, иногда делая удивленное лицо. Напрасно я толкал Аринаки под столом ногой, он еще больше приставал к Косте и ко мне. Людмила со вниманием слушала наш разговор.

Напряжение разрядил, хотя бы временно, подошедший к столу и уже здорово „нагрузившийся" скульптор, профессор Кости, хорошо знавший Аринаки по Монтекарло, где он знал всех богатых греков-пароходовладельцев и лепил их бюсты за бешеные гонорары. Профессор отозвал Костю поговорить по секрету о каких-то делах (конечно, сделать „внешний заем"), и они отошли в сторону.

В это время заиграл танцевальный оркестр, и Аринаки пригласил Людмилу танцевать. Я пристально

следил за ними и видел издали, как Аринаки что-то говорил Людмиле, смеясь, а она казалась чем-то расстроенной, хотя, по-видимому, и сдерживала себя. Потом Аринаки, временами хохотавши до упада, переменил тон разговора и говорил Людмиле что-то серьезное, и она как бы в знак согласия кивнула своей изящной головкой.

Оркестр смолк, и танцоры разошлись по своим столикам. Встревоженный Костя уже сидел за столом, когда подошли Людмила и Аринаки. Мы встали, ожидая, пока Людмила не сядет, но в этот момент и произошло то, что я предчувствовал с того времени, когда Аринаки появился в ресторане: взяв со стула свою сумочку и продолжая стоять, Людмила, едва владея собой, обратилась к Косте:

— Так ты, значит, — капитан в отставке и скульптор, подрабатывающий от богатых американцев, а не архимиллионер? Ты — холостяк, и у тебя нет ни жены Олимпиады, ни сына Харлашки, ни внука Николаки? У тебя нет семьи и ты один во всем мире? У тебя только один друг, Николай, и это все?

Теперь мне понятно, почему ты не хотел на мне жениться, все время откладывая это на будущее. Ты хотел сделать из меня содержанку и больше ничего!

По-моему, ты просто подлец! И я ухожу от тебя навсегда!

С этими словами Людмила повернулась и пошла к выходу... Костя бросился было за нею, но она обдала его таким ледяным взглядом, что он остановился, не посмев следовать за нею дальше. Людмила вышла из ресторана, сопровождаемая весело улыбающимся Аринаки.

Костя вернулся к нашему столу, бледный, растерянный и жалкий... Наконец, собравшись с силами, он коротко бросил мне:

— Не жди меня дома, я буду спать в студии!

Он встал из-за стола и направился к выходу. Я молча смотрел, как он вышел на улицу, и мне не оставалось ничего другого, как уехать домой...

Целых два дня Кости не было дома и пришел он лишь к утру третьего дня. Он казался совершенно спокойным, держал себя нормально, только глубокие синяки под глазами говорили мне, что после сцены в ресторане Костя еще не спал. Я тоже держал себя с ним ровно, не задавал ему никаких вопросов, как будто ничего не случилось. Я посоветовал ему прилечь и уснуть, что он, как послушный ребенок, и сделал. Мне даже показалось, что я переживал Костино горе сильнее, чем он сам.

Спал Костя целые сутки. Проснувшись и одевшись, он вышел на улицу, но сейчас же вернулся с бульварной скандальной газеткой в руках и молча протянул ее мне. На первой странице были помещены фотографии Аринаки и Людмилы, сопровождаемые короткой заметкой о том, что они сегодня были повенчаны в одной из парижских мерий, а завтра на частном аэроплане Аринаки с женой и ее двумя девочками улетают в Кептаун, где находится главная контора дела Аринаки.

Я молча вернул газету Косте. В комнате царило гробовое молчание...

Костя первым прервал его и произнес:

— Вот уж дейсвительно, еще неделю тому назад не ожидал я такой развязки. Людмила вышла за-

муж... Но за кого? За этого прощалыгу и мошенника Аринаки!..

— Костя! — сказал я, — что бы Аллах ни делал — все к лучшему, ты это знаешь. Я искренне верю в то, что Людмиле был нужен муж, а не любовник, у которого она была бы на содержании. Она, по-видимому, понимающая женщина и знает, что почти все содержанки кончают плохо, умирая зачастую на улице, без гроша денег, и в лучшем случае — в богадельне. Да вообще, войди тя в ее положение: ей, матери двух детей, вести жизнь женщины полусвета?! Вот потому-то она под влиянием разговора с Аринаки, должен заметить — правдивого с его стороны, порвала с тобою и вышла замуж за него. Теперь, что бы ни случилось, будет ли она жить с Аринаки или нет, — она спокойна: ни на нее, ни на ее детей никто не будет показывать пальцем. Ты, с твоими миллионами, не мог дать ей того, что дал Аринаки, и она счастлива...

Ты говоришь, что любишь ее. Я этому верю. Ты, как любящий человек, сделал для нее очень много, но, как Прометей, скованный цепями семьи и ответственности за нее, ты ничего больше сделать не мог, и я думаю даже, что ты поступил с нею „по-христиански": ни скандала, ни сцен ревности ты ей не устроил, а ведь мог бы... Поэтому считай, что ты сделал доброе дело и забудь о всем, что было...

— Брось ты, Колька, читать мне елейные речи. Из тебя никогда не выйдет убедительного проповедника, — с мягкой, грустной улыбкой сказал Костя. — Я ее просто-напросто пожалел и из жалости к ней, одинокому борцу с жестокой жизнью современья, я ее и полюбил. Не пожми она мне руку в первый вечер

нашего знакомства, я бы дальше не пошел... Не улыбайся! Я даю тебе честное слово и клянусь памятью деда (а Костя клялся дедом лишь тогда, когда был действительно убежден в своей правоте), что я ей помог бы и отошел бы от нее. Но вот это доверчивое, ищущее опоры и защиты пожатие ее руки повернуло все вверх дном. С каждым днем, с каждою встречею я любил ее все больше и больше, зная в то же время, что жениться на ней я из-за семьи, конечно, никогда не смогу... Ты видел подарок, тот пакет, который я принес ей в тот достопамятный вечер?

— Видел.

— Ты не знаешь, что там было, и пока я об этом подарке ничего тебе не скажу. Может быть узнаешь сам когда-нибудь. Подарок этот делал ее самостоятельной женщиной, что бы с ней или со мной ни случилось. Но вот сцена, которую она мне устроила в ресторане и ее уход с Аринаки, с человеком, которого я презираю за трусость и подлость!.. Знаешь ли ты, что это Аринаки втянул Харлашку в дело с шанхайским рейсом?

— Нет, я этого не знал.

— Да, это был он. Эта штука ему не удалась, — тепер он отомстил мне, женившись на Людмиле. И знаешь, с одной стороны я даже рад за нее: теперь она замужем, у ее детей есть отец... Но с другой стороны... Эх, Колька! Я страдаю, хотя вида не подаю. Тревожусь я за нее, понимаешь? А вдруг с нею случится что-нибудь, ведь я буду тогда проклинать самого себя до самой смерти, как виновника этого несчастья!

— Почему? — спросил я.

— Да потому, что, во-первых, — не встреть я ее, она быть может нашла бы более подходящего ей молодого человека, а не меня, старика, связанного по рукам и ногам. Во-вторых, мне, понимаешь ли ты — м н е , пришлось познакомить ее с Аринаки. Как ни крути, пусть косвенная, но все же это моя вина. Не было бы Аринаки, все шло бы, возможно, по-старому. Как долго, не знаю, но шло бы, и я приложил бы все усилия, чтобы сделать ее счастливой, даже если бы она вышла замуж за хорошего человека. Но за Аринаки?! С ним ведь все возможно...

Из-за этого я и страдаю, не зная, что мне делать. Но что бы с ней ни было, я всегда помогу ей выпутаться, если она попадет в беду. Ты в начале разговора произнес одну довольно плоскую фразу, сказав, что я поступил с нею „по-христиански". Не думаю, что это так, но страдаю я, действительно, как один из первых христианских мучеников, попавших в руки палачей-язычников. Для ее счастья я даже отказался от моего счастья — не набил морду Аринаки и не привез ее домой. Возможно, что за это на том свете мне скостят несколько из многих моих грехов. Но мне трудно, очень трудно переживать эту ее скоропалительную свадьбу, которая была для меня очень тяжелым ударом. Вот поэтому...

Я подошел к нему и положил руки ему на плечи:

— Костя! Брось ты все эти мысли, забудь все и будь снова Костей Попандопуло, пиратом и капитаном „Грозы морей", еще в детстве исколесившим весь свет и добившимся своей собственной флотилии в сотню судов. Будь снова гордым, мужественным, храбрым, каким ты был всю свою жизнь!

И, немного помолчав, я добавил:

— Все будет хорошо, и я думаю, что твоя Людмила еще вернется к тебе.

— Ты думаешь? — с лихорадочно вдруг заблестевшими глазами встрепенулся Костя.

— Да, я так думаю...

В этот момент раздался звонок, и я пошел открыть дверь. Прилично одетый молодой человек спросил меня, здесь ли живет господин Попаидопуло и после моего утвердительного ответа передал мне пакет для Кости. Вернувшись в комнату, я вручил посылку Косте, который быстро вскрыл пакет и, прочтя вложенную туда записку, вернул пакет мне.

— Посмотри, что здесь, и пересчитай, — упавшим голосом сказал он мне.

В пакете находилось 500 кредитных билетов по 500 долларов, а всего — 250 тысяч долларов наличными. Я только свистнул... Прочтя короткую, детским почерком написанную записку: „Благодарю! Людмила", я вопросительно посмотрел на Костю.

— Это и был мой ей подарок, делавший Людмилу обеспеченной женщиной. И вот она мне вернула его! Твои предупреждения об опасных женщинах Парижа, которые пойдут на все, чтобы вытянуть денег у богатых стариков, оказались, как видишь сам, неосновательными...

Теперь я ухожу к себе в студию на день-два и дома ночевать не буду. Но ты не волнуйся, все будет в порядке... — И Костя какой-то сразу постаревшей походкой вышел из комнаты.

Мне почему-то сделалось стыдно, и стало еще больше жаль Костю с грустной историей его несчастной любви.

Вечером Костя позвонил мне по телефону, сказав, что к нему в студию пришел его профессор-скульптор и что он начал какую-то новую работу. Профессор останется жить с ним в студии, — его попросили, как это часто с ним бывало, выбраться из квартиры за невзнос платы. „Ну, — подумал я, — будет дело! Будут излияния и возлияния . . . Но пусть Костя выпьет, может быть забудет свое горе".

Прошло три дня. Я не хотел надоедать Косте и не звонил ему, но вызвав его по телефону на утро четвертого дня и не получив ответа, я все же пошел в студию. На мой стук в дверь никто не отозвался, и я, открыв дверь моим ключем, вошел в комнату. Повсюду царил страшный беспорядок, но то, что я увидел заставило меня прямо-таки оцепенеть: на столе лежал барельеф, изображавший лик Христа с терновым венцом вокруг головы. Я видел много изображений Искупателя, но такого исполнения не видел еще никогда и, наверное, никогда не увижу.

Лик Христа был живым, хотя глаза Его были закрыты. И вместо обычной печали лицо Спасителя тихо сияло почти радостной улыбкой лишь с легким налетом грусти, умиротворенной сознанием исполненного долга. Было так ясно видно, что Он знал, что ожидало Его в земной Его жизни, что Он шел на мучения и на смерть, чтобы искупить грехи людей и дать человечеству возможность зажить тихой, мирной и счастливой жизнью.

Я не мог оторвать взгляда от дивной работы и, по правде сказать, подумал, что барельеф был сделан

профессором Кости, вполне возможно — под впечатлением рассказанных ему Костей переживаний его после ухода Людмилы.

Оставаясь в каком-то оцепенении, я не слышал, как кто-то подошел сзади и положил руки мне на плечи. Я вздоргнул и обернулся. С мягкой, ласковой улыбкой на меня смотрел Костя.

— Любуешься? — спросил он.

— Да! Твой профессор создал что-то потрясающее, — сказал я.

— Профессор? — удивленно перепросил Костя.

— Да, я думаю только он мог создать такое совершенство.

— Нет, брат, этот слепок — мой, я сделал его сам. Твое дело, верить мне или не верить, но это моя работа... Этот барельеф мы с тобой повезем домой, в Афины, а потом я хочу, чтобы он попал когда-нибудь в наш родной Таганрог и был бы поставлен на моей могиле...

— Ничего не понимаю! Едем домой в Афины, потом — Таганрог, твоя могила! В чем дело?

— В том, что мы уезжаем с тобой домой в Грецию. Понятно? Ликвидируй все с квартирой и готовься в дорогу. Делай все сам, я не в состоянии тебе помочь. Иди домой, начинай сборы, а меня оставь здесь одного. Когда все будет готово, скажешь мне, и мы полетим с тобой в Элладу.



Понимая, что спорить с Костей бесполезно, я занялся приготовлениями к скорому отъезду и, закон-

чив все хлопоты и формальности, уже под вечер вернулся домой. Едва успел я переодеться, как в квартиру буквально ворвался бледный, взволнованный до предела Костя с вечерней газетой в руках, которую он без слов, молча протянул мне. Крупными буквами на первой странице было напечатано сообщение о том, что аэроплан Аринаки с его новой семьей, по-видимому, погиб где-то над Сахарой. Тревога была поднята аэродромом в Тимбакту, где самолет ожидался уже три дня тому назад. Поиски не дали никаких результатов и хотя еще продолжаются до сих пор, власти уверены, что самолет погиб с пассажирами и экипажем.

Я выпустил газету из рук, не зная, что сказать. И вдруг Костя взревел, как тяжело раненный зверь. Он проклинал себя, да и меня почему-то, за гибель Людмилы и ее детей, рвал на себе волосы, плакал, бесновался, бегая по комнате и опрокидывая мебель . . .

Я сейчас же вызвал по телефону врача и, на всякий случай, карету скорой помощи. Приехавшему доктору я быстро объяснил, в чем дело, и он быстро сделал Косте какой-то укол и уложил его в постель. Затем, осмотрев Костю тщательно, доктор сказал, что у него сильнейший нервный припадок и его нельзя оставлять одного, почему необходимо вызвать к нему сиделку. Доктор добавил, что он будет навещать больного два раза в день и, если не будет никаких осложнений, через неделю Костя сможет встать, но до тех пор нужно быть осторожным. Прописав нужные лекарства и вызвав сиделку, доктор дал ей наставления и уехал.

В течение двух дней наша квартира превратилась в импровизированный госпиталь. Возились и ходили взад и вперед сиделки, пахло лекарствами, я почти не спал, иногда дремал в глубоком кресле и мне кажется, что я был болен больше, чем сам Костя, который все время находился под действием успокаивающих средств.

В конце третьей ночи по еле слышно звучавшему радио я услышал сенсационное сообщение: аэроплан Аринаки найден. Он приземлился в каком-то затерянном оазисе, где сел прямо на пальмы. Экипаж и все пассажиры живы и уже прибыли в Камерун.

Не доверяя своим ушам и с трудом дождавшись утра, я вышел на улицу и купил газету: да, точно, все спасены! Вернувшись в квартиру, я сейчас же прошел в спальню к Косте и молча протянул ему газету... Быстро пробежав глазами сообщение, Костя заплакал тихими, радостными слезами. Не желая его стеснять, я вышел из комнаты.

К вечеру Косят был совершенно нормален. Пришедший врач осмотрел его и, покачав головой, объявил, что Костя совершенно здоров. Он приписывал это чудо железному организму Кости: ведь он был на грани буйного помешательства. Следующую ночь Костя спал без снотворного, а утром, после кофе, приказав мне готовиться в дорогу, он пошел в студию. Если он будет мне нужен, — он будет там.

Позже, занимаясь всем необходимым для отъезда, я все время раздумывал о загадочной Костиной натуре, где добрые и нежнейшие чувства были так глубоко запрятаны в тайниках его души, что об их существовании у него „корсара и пирата", я и не догадывался.

Костя не появлялся домой целый день и не отвечал на мои телефонные звонки в студию. Обеспокоенный, я побежал туда, открыл дверь своим ключом и увидел Костю спящим в глубоком кресле с грустной улыбкой на лице. Рядом с креслом стояла на полу недопитая бутылка виски, а с другой стороны валялись на полу куски разбитого барельефа с изображением Христа в терновом венце... Пусть объясняют этот поступок психиатры, — я сделать это не в состоянии...

Я бесшумно вышел из студии, оставив Костю в покое.

Когда все наши парижские дела были ликвидированы и мы были готовы в дорогу, Костя вдруг приказал мне найти большой лимузин, в котором мы поедем через всю Франция и Италию в Бриндизи, откуда отправимся в Пирей на пароходе.

Приказ я выполнил. Все вещи были погружены в огромный автомобиль, мы распрощались с профессором и троулись в путь. Как будто что-то вспомнив, Костя вдруг приказал шоферу проехать мимо того магазина, где он впервые встретил Людмилу. Когда мы подъехали к магазину, Костя сделал шоферу знак остановиться и долго смотрел на его витрины. Потом он дал шоферу адрес дома, в котором Людмила жила с бабушкой до встречи с Костей. У дома повторилась та же картина, что у магазина. Медленно покружились мы по всем знакомым местам этого изумительного города. Оба мы молчали, погруженные в воспоминания, и каждый переживал по-своему разлуку с этим очарованием.

Мы уже выехали за город, оставив за собой башни Собора Парижской Богоматери, купола Института

и могилы Наполеона и Эйфелеву башню, как вдруг, прервав молчание, Костя проговорил:

— Кажется, Илья Эренбург сказал где-то, что Париж очень часто кажется лиловым. Я с ним согласен: тут не только можно самому лиловым, а и синим сделаться! — и Костя загадочно улыбнулся.

Я был рад услышать эту фразу. Это означало, что к Косте вернулся его юмор и он начал входить в свою привычную колею.

Мы благополучно прибыли в Бриндизи, где нас ожидал один из наших кораблей, капитаном которого был сам Николаки. Он пошел на этот рейс, чтобы оказать этим честь деду и мне, его крестному. Встреча была трогательной. Как только мы вступили на палубу корабля, Николаки приказал старшему офицеру быть готовым через 30 минут выйти в море. К этому времени Николаки пригласил нас обоих на мостик, где мы по-стариковски уселись в глубокие кресла, с удовольствием наблюдая, как Николаки командовал отходом. Все прошло „без сучка и без задоринки". Костя повернул в мою сторону довольную физиономию и тихо сказал:

— Наш, таганрогский! Я знал, что из него выйдет неплохой моряк. Что ты скажешь?

— Да, из него вышел толк, — согласился я, смотря на удалявшийся безобразный монумент, установленный Муссолини у входа в порт в честь итальянцев, павших в абиссинскую войну.

Патрас, Коринфский канал, — и через два дня мы были ошвартованы у пристани древнего Пирея. Здесь нас встретила Олимпиада, с видомой тревогой

посмотревшая на седую голову Кости. Она сказала нам, что Елена ожидает ребенка через месяц.

Мы поехалив Кефиссею. Стояла уже глубокая осень, и в саду не было обычной массы цветов, лишь только пламенели красные астры — осени поздней поздней цветы запоздалые...

⁂

Вернувшийся домой Костя стал для всех членов семьи, для своих друзей и знакомых совершенно неузнаваем.

Он проводил много времени в своем кабинете за чтением, в семье и на людях держался тихо, ни с кем не спорил, как делал это раньше, и даже его монера жестикулировать сделалась какой-то плавной и мягкой. Кафе Зонта, игра в карты и в домино была, казалось, забыта раз и навсегда. Его отношение к Олимпиаде впервые в их жизни стало не только мягким, но временами даже ласковым, и эта перемена вызвала в практическом мозгу Олимпиады какое-то подозрение. Ей казалось, что Костя своей переменой заглаживает какой-то свой грех, какую-то вину свою перед нею. Она не оставляла меня в покое, стараясь выпытать, что произошло в Париже, что заставило Костю так измениться и изменить свое отношение и ко всем друзьям и в особенности к ней.

Она мне так надоела со своими приставаниями, что я, взяв с нее клятву всеми греческими угодниками о молчании, сказал ей, что Костя своими работами по скульптуре вызвал большой восторг у знатоков этого искусства и у критиков, настолько, что он может даже надеяться получить Нобелевскую

премию. А для этого нужно будет ехать вместе с своей женой в Швецию, в Стокгольм, для представления королю. Поэтому Костя и начал практиковаться, как держать себя в высшем обществе, чтобы не осрамить своим поведением ни ее, ни самого себя. Но надежды на получение премии нельзя считать верными на все 100%. Может быть он получит ее, а может быть нет. Но если ничего не выйдет в этом году, то можно получить премию в будущем ... Олимпиада высказала пожелание, чтобы Костя ожидал этой премии всю жизнь, лишь бы вел себя так, как ведет себя теперь, и она будет довольна. По ее глазам было видно, что она мне поверила.



Через месяц Елена, жена Николаки, родила мальчика. Состоялись пышные крестины, и я был, конечно, крестным отцом с какой-то греческой кумой с острова Хиоса. Мальчика назвали Михаилом, в честь дяди Миши и отца Елены, которого тоже звали Михаилом.

С далекого острова Арубы на торжество прилетели Харлашка и Аспазия. Новоиспеченный дедушка был как будто доволен появлением внука. Аспазия улыбалась, но глаза ее выдавали чувство досады: стать бабушкой ей вовсе не нравилось. Для представительниц „высшего света" междуиародной плутократии это было неприятным признаком надвигающейся старости.

Олимпиада, теперь прабабушка, дневала и ночевала у Елены, и я отдыхал от ее назойливых расспросов о Нобелевской премии.

Жизнь шла своим чередом, дни проходили за днями. Костя все время читал и задавал мне иногда довольно странные вопросы не то социологического, не то социалистического характера. Выслушивая мои ответы, он что-то молча соображал, делал заметки в своей записной книжке и читал, читал без конца.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СМЕРТЬ ДЯДИ МИШИ

В одно ненастное серое осеннее утро экономка дяди Миши сообщила по телефону, что ему плохо и он хочет видеть всех нас. По возможности скорее...

Костя, Олимпиада, Николаки и я тотчас же вылетели гидропланом на остров, где дядя Миша жил, окруженный сиротами, его воспитанниками.

Летели мы молча. Мы все чувствовали, что наступает конец жизни для моего дяди, ведь ему перевалило за сто лет. И хотя смерть в таком возрасте казалась бы явлением нормальным, нам всем, а в особенности мне, не хотелось, чтобы он ушел туда, откуда нет возврата.

Гидроплан сел на воду. Шлюпка доставила нас на берег, где мы были встречены кучей детишек, с печалью и тревогой смотревших на нас. Мы вошли в дом, и служанка отворила дверь в большую, светлую спальню, выходившую окнами на темно-фиолетовые воды Эгейского моря.

Дядя Миша лежал на кровати, одетый во все белое. У изголовья, в длинном высоком подсвечнике почему-то горела толстая восковая свеча. Глаза дяди Миши были закрыты, он, казалось, спал.

Мы тихо подошли к кровати, и я тихо окликнул:

— „Дядя Миша!"

Он медленно открыл глаза и, когда увидел всех нас, лицо его просияло тихой улыбкой. Он попытался приподняться, но был мягко уложен опять на спину Олимпиадой.

„Как я рад видеть вас всех в мои последние часы..."

„Ну какие там последние чосы, — перебила его Олимпиада. — Вам долго еще нужно жить. Без вас мы останемся сиротами, неправда ли, Коля?" — обратилась она ко мне.

Сдерживая приступ слез и выдавив на лице подобие какой-то улыбки, я согласился с Олимпиадой.

„Сиротами вы не останетесь, — сказал дядя Миша. — Я заложил в душу каждого из вас часть моего собственного бытия. И поскольку вы все будете продолжать наше общее дело, дело помощи ближнему, я всегда буду с вами. Здесь или там — это неважно, но я буду с вами. Я мог бы спокойно уйти из этого мира один, не тревожа вас, но мне захотелось сказать вам несколько слов перед моим уходом от вас...

Дядя Миша умолк. Казалось, что ему становилось труднее дышать и говорить.

„Моими последними словами вам будет заповедь о нашей великой родине России... Не забывайте ее,

гордитесь ею, любите ее. Гордитесь и тем, что вы родились в России... Что вы — русские, хотя и являетесь гражданами другой, тоже огромной и могучей страны, чей народ имеет так много общего с русским народом... Россия же... — дядя Миша умолк на минуту, закрыл глаза и потом продолжал:

— Русскому человеку, живущему на родине, трудно представить себе, что такое Россия... И только когда он отойдет от нее вдаль, на тысячи верст, только тогда он увидет это чудесное громадное полотно, написанное широкими мазками — бликами... Находящемуся вблизи от него полотно это говорит мало, так как его трудно охватить взором, но издалека... оно представляется ему величественной картиной, написанной редкими по красоте красками, секрет изготовления которых знали только старые русские умельцы.

От берегов Балтики до Камчатки, от вечных льдов Арктики до границ Индии увидит он синеву широких русских рек и многих русских озер... Темный изумруд ее бесконечных лесов и, местами, вкрапленные самоцветные камни ее гор с их блистающими, как алмаз, вершинами, покрытыми вечными снеговыми шапками...

И только тогда, вдали от родины, поймет русский человек, что такое Россия... Что она уже дала и еще может дать всему роду человеческому. И будет жалеть он, что оставил родину... Отошел от нее...

И, заметно устав, дядя Миша снова умолк и закрыл глаза. Потом, с закрытыми глазами, он продолжал:

Тогда он поймет, что такую великую страну мог создать, закрепить, защищать тоже только великий

же народ. Сильный, талантливый, духовно-могучий, смелый, упорный в труде... Не злопамятный и великодушный, каким в большинстве случаев всегда был русский человек... Нет в мире человека, подобного русскому, за исключением одного...

Здесь дядя Миша мягко улыбнулся и затем продолжал:

— Этот человек американец. Очень много общего существует между русскими и американцами. Пока они еще мало знают друг друга, но дружба между этими двумя народами в будущем неминуема. Она придет.

— Когда вы были детьми, я вам много говорил о русской истории. О том, как создавалась Россия, в каких муках рождалась русская земля... Через какие испытания и муки прошел русский народ. И как он, великий, перенес все... Как он создал громадную страну, занимающую одну пятую часть всего земного шара. И не отдельными колониями, а единой, неразделиенной площадью. Над русской землей почти никогда не заходит солнце.

Не нравился рост России и русского гения многим ее недоброжелателям. Вставлялись палки в колеса быстро мчавшейся вдаль русской тройке.

Всяческими путями, вплоть до шантажа, вовлекали Россию в ненужные войны... И временами казалось, что она стояла на краю гибели. Но всегда защищал и спасал русскую землю сам великий русский народ.

Втянули Россию, не совсем еще подготовленную, в даже не особенно ей нужную войну 1914-1918 годов,

кончившуюся вы сами знаете чем. Начался распад страны... К несчастью, Ленин был прав, когда на обвинения его в том, что он захватил власть незаконно, он спокойно отвечал, что власть он не захватывал. Она валялась на земле, и он ее просто-напросто подобрал. И потом все пошло вверх дном. После октябрьской революции началась гражданская война на многих окраинах России. Закончилась гражданская война поражением белых армий. Коммунизм был объявлен чуть ли не государственной религией. Но его нужно было удержать, закрепить и закалить.

Вы знаете „как закалялась сталь" и Лениным, и Сталиным, и другими „металлургами" революции.

Личность человека, семья, религия, законы, все уничтожалось, все бросалось в ненасытную доменную печь Молоха революции.

Интеллигенция во время террора находилась под особым подозрением у власти. Многие большие специалисты отказывались от своего прошлого, „шли в народ", занимались чем угодно, только не своим делом.

Преемственность знаний, их передача новому поколению была или грубо исковеркана, или просто уничтожалась как „буржуазный предрассудок".

Многие бежали заграницу, куда глаза глядят, только чтобы „быть живу", и весьма немногие, сознавая свою ответственность за полученные ими знания перед народом, оставались на своих местах. Они продолжали нести зажженный факел высокой русской культуры, несмотря ни на какие лишения, мученья и даже смерть в концлагерях.

Многие малодушествовали. Считали, что Россия погибла раз и навсегда. Смалодушествовал и я.

Я, правда, не бежал. Мне разрешили уехать в Индию, где я жил и работал среди чуждого мне народа, но все же немного близкого по духовным качествам к русскому народу. Все же Индия не была для меня Россией.

Оттуда я наблюдал процесс „закалки стали" в России.

Грянула вторая мировая война. Кончилась она позорным бегством гитлеровских орд из России.

А результаты „закаливания стали", вопреки ожиданиям революционных „сталеваров", пошли по другому руслу и благодаря каким-то изменениям в процессе дали неожиданные результаты для специалистов по революции.

Террор революции с его насилиями, страданиями, а затем немецкие издевательства над русским народом так закалили его и физически и духовно, так заставили его полюбить родину и гордиться тем, что он — русский, что такого рода патриот даже не снился ни одному русскому царю далекого прошлого!

Мало этого: более чем каторжным трудом, в нечеловеческих условиях работы Россия в своем могуществе почти стала наряду с Америкой..."

Дядя Миша опять замолчал. Дышал он реже и все с большим трудом.

— Да, мне жаль, что я уехал из России. Что я не остался там... Помочь своими маленькими познаниями в работе русского народа.

И я рад тому, что мне пришлось приехать к вам сюда, в Грецию, где я быстрее узнавал о том, что происходило в России.

В Индии, в Бенаресе, мне было трудно получать новости о родине.

А вот теперь я знаю, что Россия возрождается. И залогом ее светлого будущего является русская еще неиспорченная, как на Западе, молодежь.

К ней присоединяется и американская молодежь, которая тоже ищет духовной жизни от надоевшего материализма какого угодно толка. Не забывайте того, что Россия была создана православием и им же будет вознесена на необыкновенную высоту... Но православием чистым, одухотворенным, не казенным, а христианским, давшим России и просветителей и защитников Земли Русской.

В этой чистой форме православия служителями будут только люди по призванию, а не карьеристы. И тогда "LUX EX ORIENTALIS", — почему-то по латыни произнес дядя Миша.

— Свет всему миру придет с Востока. С русского Востока. За Россией потянется и Америка. Там православие уже пустило свои корни и имеет немало последователей.

Верьте в мое предсказание, мои дети. Оно сбудется, и оно уже не за горами.

Вам покажется странным, что я, далеко не церковник, говорю вам о православии?

Я родился в православии и пребывал в нем до студенчества. Потом я отошел от него, но правосла-

вие никогда не оставляет православного. И вот, перед самой смертью оно вернулось ко мне. И глазами православного я вижу, что над Россией снова собираются тучи. Будут ей посланы еще испытания, но они уже не так страшны.

Нельзя одним росчерком пера или атомной бомбой уничтожить ни Россию, ни ее народ, но некоторые неприятности еще возможны . . . ”

Дядя Миша опять умолк. Потом, вдруг приподнявшись с подушки и глядя куда-то ввысь, он медленно произнес:

— Да воскреснет Россия! И расточатся врази ея! И да бегут от лица ея ненавидящие ее . . . Яко тает воск от огня . . .

Голова его медленно опустилась на подушку. Тихо закрылись глаза, и он испустил дух . . .

В открытое окно ворвался ласковый порыв свежего морского ветра, задув горевшую свечу. Мы, мужчины, плакали, плакали самыми страшными, сухими слезами.

И только громко рыдала Олимпиада.



Дядю Мишу похоронили на острове, лицом на восток, туда, где находится так любимый им Таганрог. Колонией сирот стала заведовать внучка Кости, доктор медицины Фрося.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЧАСЫ ОТЛИВА

В гасы отлива, не верь измене моря,
Оно к земле воротиться опять.
Не верь мне, милый друг,
когда в моменты горя,
Я говорю, гто разлюбил тебя.

Из старинного русского романса

После похорон дяди Миши мы вернулись в Афины. Олимпиада заказывала установленные церковью панихиды, широко жертвовала за упокой его души, все время говорила о нем, плакала. Но нам с Костей, хотя мы об этом и не говорили друг другу, все еще казалось, что дядя Миша никуда не уходил, что он незримо здесь присутствует, слушает наши разговоры, улыбается своей светлой по-детски улыбкой и не перестанет нас поучать. Таково было обаяние этой исключительной личности, что даже физическая смерть не помешала дяде Мише быть около нас...

Костя все время менялся к лучшему, становился все серьезнее, много читал о России, старой и новой.

Всех приезжающих из России он расспрашивал о жизни там, следил за русской литературой и выписывал, не обращая внимания на косые взгляды греческой жандармерии, советские газеты и журналы. Карты и женщины были забыты и Костя, в прошлом — верный поклонник Бахуса, ограничивался одной рюмкой виски раз в день, перед обедом.

А я? Я продолжал ту же жизнь скитальца, но уже не „по всем морям и океанам", а ходил с острова на остров, даже не один, а с двумя матросами. Годы брали свое и нужно было быть осторожнее. Жил я, конечно, в семье Кости, в его загородном доме, в Кефиссии.

Как-то в редкий даже для зимней Греции пасмурный вечер я забрел перед ужином в Костин кабинет. Костя что-то читал. Захлопнув книгу, он предложил мне сесть и налил нам обоим по стакану виски-сода. Мы поговорили о делах, которые очень хорошо вел Николаки, а потом разговор как-то иссяк и наступило молчание. Костя почти в упор посмотрел мне в глаза и спросил меня:

— Ты знаешь знаменитый магазин игрушек Шварца в Нью-Йорке на Пятом авеню?

— Знаю, — ответил я, несколько удивленный вопросом.

— Ты, конечно, знаешь также, что это самый дорогой магазин игрушек в мире? Для детей исключительно богатых людей?

— Знаю и это! Но почему ты спрашиваешь меня об этом учреждении?

Взяв в руки стакан с виски, Костя подошел к окну и долго смотрел на оголенные деревья сада. Вдруг он повернулся, подошел ко мне и начал:

— Вот почему: после той неприятной истории с „прогрессистами" в Нью-Йорке, когда ты вытащил меня из полицейского участка, я уже тогда начал раздумывать о многих вещах, но никому, даже тебе, о моих думах я не говорил. Думал я о многом и во время моих прогулок по Нью-Йорку. В одно воскресенье, поздним уже утром я очутился перед этим магазином Шварца. Сам знаешь, какие замечательные игрушки выставляются в его витринах. Любуются ими и стар и млад. Залюбовался и я. Вдруг рядом со мной остановилась сравнительно молодая еще женщина, скромно одетая, с приятным, но грустным лицом. С ней была маленькая девочка лет восьми. Я видел их лица отраженными в стекле витрины. У девочки разбежались глаза, личико сделалось восторженно-восхищенным. Она увидела какую-то особенную куклу и обратилась к матери:

— Мама! Какая красивая кукла! Я никогда еще не видела такой красивой куклы. Купи ее мне!

— Нет, детка, — ответила ей мать, — игрушки в этом магазине очень дорогие. Они — для богатых людей, а мы бедные.

— Мама, а почему мы бедные? — чуть ли не со слезами на глазах спросила девочка.

— Твой папа убит на войне в Индокитае, и я работаю одна.

И тоже со слезами на глазах она схватила девочку за руку и пошла дальше по Пятому авеню.

Костя замолчал. Потом, нервно отпив глоток виски из стакана, он продолжал:

— Знаю, Колька, что тебе будет трудно поверить тому, что случилось впервые в жизни со мной, Костей Попандопуло, — пиратом, корсаром, пьяницей, картежником, — но это случилось . . . Мне стало стыдно за мои миллионы и глубоко, до боли глубоко, вспыхнула в сердце жалость к этому ребенку, так невинно задавшему матери вопрос: „Мама, а почему мы бедные?"

Я не соображал, я не знал, что делать с моими такими внезапными переживаниями. Ты знаешь, что я всегда ношу крупные деньги в конверте в кармане пиджака. Быстрыми шагами я последовал за этой парой. На переходе через улицу зажегся красный свет, и они остановились. Я подошел, и женщина удивленно, почти испуганно, посмотрела на меня. Я снял шляпу и не помню уже как начал говорить, но помню, что сказал ей:

— Сударыня! Прошу принять от меня этот конверт, в нем деньги. Завтра, когда откроют магазин, пойдите и купите вашей девочке куклу, которая ей так понравилась. Я тоже когда-то был военным . . .

И я сразу пустился бежать. Женщина стояла, не говоря ни слова, с открытым от удивления ртом. Вскочив в остановившееся около меня такси, я поехал домой. Тебе я ничего не сказал об этом происшествии, ты бы все равно не поверил бы мне, но встреча эта перевернула меня всего, до самих глубин моей души. Вот почему я согласился на женитьбу Николаки, — потому что Елена была из бедной семьи. Это не нравилось ни Харлашке, ни Аспазии и за

это отношение к бедным я их глубоко презираю. Вот почему и мой роман с Людмилой: она была бедной женщиной, содержавшей своим каторжным трудом всю свою семью. И этот вопрос: „Мама, а почему мы бедные?" стоит у меня в ушах до сих пор. Я не забывал его никогда, даже в то время, когда переживал уход Людмилы с Аринаки... И после нашего возвращения в Афины я продолжаю над этим раздумывать...

— Над чем именно? — спросил я.

Костя долго и пристально посмотрел на меня:

— Ты, конечно, знаком с работами этого изумительного ирландца Бернарда Шоу?

— Да, конечно. Он — один из моих любимых писателей.

— Ты помнишь, что он сказал о бедности, окутывающей весь мир?

— Припоминаю смутно. Мне кажется, что по его мнению бедность — это ужасная болезнь и если ее не излечить вовремя, то эпидемией нищеты будет охвачен весь мир. Что-то в этом роде, — сказал я.

— Не совсем точно, но общий смысл правилен, — задумчиво сказал Костя. — Бернард Шоу восхищался русской революцией, оправдывал все, творившееся ею. Он думал, что революция уничтожит бедность.

— И ты находишь, что он был прав в своих суждениях о том, что произошло в России? — прервал я Костю.

Костя долго молчал, потом проговорил спокойно:

— Если хочешь, я его понимаю. Я не оправдываю всех ужасов революции, но считаю их законо-

мерным ходом истории любого государства, где происходили всякого рода насилия над личностью человека, над естественным правом людей жить и работать и поелику возможно быть удовлетворенным этим образом жизни...

— Какой язык у вас появился, Константин Аристидович! — не утерпел я, чтобы не уязвить Костю. — Впору любому эмигрантскому профессору, читающему лекцию о Жан-Жак Руссо!

— Брось валять дурака, — я говорю с тобой вполне серьезно. Вопрос этот я задал тебе вот почему: если человечество борется со всеми болезнями, поветриями, эпидемиями и другими несчастьями, угрожающими жизни человека, то почему никто не занялся излечением самой, по-моему, страшной болезни — общемировой бедности, которую мы оба наблюдали по всему миру? — спросил меня Костя.

Я был поражен серьезным тоном голоса Кости. Очевидно, он был совершенно искренно этим заинтересован... Я хотел ответить ему так же серьезно, но вот как ему ответить?! Я обдумывал ответ несколько минут и в конце концов решил отделаться общими фразами:

— Костя, бедность была всегда, есть и всегда будет, от зари человечества до нашего просвещенного века. Боролись с ней все великие люди, и Будда, и Моисей, и Христос, и Магомет, но результаты этой борьбы были весьма незначительны. Причиной, если хочешь, провала религий, старавшихся уравнять благосостояние рода людского, всегда опять же была, по-моему, жадность человеческая, от которой человеку избавиться почти невозможно. Жадность извест-

ного класса людей может уничтожить только революция. Но мы на нашем с тобою веку видели и великую русскую революцию, да и другие революции тоже, и ты сам понимаешь, что ни одна из них, даже самая ужасная, вопроса бедности не разрешила, а сколько жизней было принесено в жертву революциям? Тебе это тоже известно. Но мне странно, что ты, сам — миллионер, задаешь мне такие наивные вопросы. Ведь еще будучи ребенком, ты уже решил стать богачом, и на бедняков ты тогда не обращал никакого внимания. Теперь ты — архимиллионер и... вдруг такие сантиментальные мысли и рассуждения... Тебя совесть что ли мучает за приобретение твоих капиталов или что-нибудь другое? Говори прямо.

— А ты помнишь, как мы жили мальчиками еще в Таганроге? — спросил Костя. — Наши семьи были действительно бедными, хотя острой нужды мы и не испытывали. Отцы наши почти всегда работали, а моей семье всегда помогал дед, у которого, как тебе известно, были деньги. Но окружавшие нас семьи бедняков, зарабатывавшие, на круг, около 30 рублей в месяц, если отец семьи работал, жили в ужасных условиях. Когда же наступила безработица, в балканскую войну, ты помнишь, что творилось? Я даже теперь вспоминаю окрики матерей детям: „Манька, пойди в лавочку, купи булку хлеба, полфунта сахара, фунт подсолнечного масла и на 3 копейки керосина. В долг. Скажи, что в получку заплатим". И идет бедная Манька, еще совсем ребенок, в лавочку, робко просит дать ей необходимое, лавочник в сердцах отпускает товар, записывает в долг, и девочка возвращается домой. Хлеб, чай вприкуску — вот ужин всей семьи... Все эти карти-

ны я видел и они оставили в моей памяти неизгладимый след. Я начал дико бояться бедности и возможной нищеты. Тогда-то я и решил всеми правдами и неправдами добиться богатства. Ни тебе, ни кому-нибудь другому я никогда не говорил о причине моего желания стать богачем, но я никогда не забывал невеселой жизни бедняков в нашем городе. Я думал, что бедность была чисто местным условием жизни нашего города, но когда мы с тобой, выброшенные революцией за границу, увидели, как т а м жили бедняки, — я пришел в ужас! Ты помнишь бедноту предместий Лондона, Глазго, Неаполя? Нищету в Сицилии, в Испании, в Португалии и в угольных районах Бельгии, где в шахтах даже после первой мировой войны работали женщины, иногда беременные, за мизерную плату. В Англии только сотню лет тому назад женщины с детьми тоже работали, как углекопы, в глубоких шахтах гордого Альбиона, извлекавшего громадные доходы из почти четверти населения всего земного шара. Не буду говорить об американских южных штатах, где царила вопиющая нужда и для белых и для негров, а об ужасе бедноты в Центральной и Южной Америке лучше и думать не будем, ты сам знаешь, как живет там народ. Там даже и по сей день существует рабство, как и в Северной и Центральной Африке и Аравии, тебе это тоже известно. И почему-то эти страны называются „демократическими"! — горько усмехнулся Костя.

Я с некоторой тревогой следил за нитью Костиного монолога.

— Верь или не верь мне, Колька, — продолжал Костя, — но я уже много лет тому назад решил

сделаться международным Робином Худом, — грабить богатых и помогать бедным. Но грабить открыто, сам знаешь, по головке за это не погладят! Международная плутократия, богачи, редко приобретали свои капиталы честным путем, и если есть, конечно, среди них и порядочные люди, то большинство их — беспросветное жулье, по которому плачет веревка. Но тронуть их нельзя. Они окружены знаменитыми адвокатами, которые умеют жонглировать любыми законами любой страны, а поэтому они могут делать все, что им придет в голову, для того чтобы сорвать несколько лишних миллионов. Вот в эту братию и решил я попасть. У них идет законный грабеж друг друга, и отвечать за это не требуется. Благодаря моему тестю с его несчастными пароходами-калошами, благодаря Сеньке-Божемой с его Джимми, мы с тобой попали в среду судовладельцев. И вот тут я и начал действовать. Хватал направо и налево, не считаясь ни с кем и ни с чем. Беднякам я начал помогать уже тем, что с твоего согласия мы платили нашим служащим не в пример прочим хорошее жалованье, которое давало и дает им возможность прилично жить; мы образовали маленькую колонию для детей-сирот, которую поставил и вел дядя Миша до самой своей смерти, царство ему небесное! — и Костя набожно перекрестился.

Быстро отпив глоток виски, он продолжал:

— Но сделаться по-настоящему Робии Худом мне мешала, — каюсь, — моя животная страсть к женщинам, да и к другим вещам тоже, ты сам знаешь! Но случай с Аринаки, который хотел, как „честный коммерсант”, захватить наше дело в свои руки, а за-

тем и несчастный мой роман с Людмилой перевернули меня всего...

— И ты решил сделаться Робин Худом по-настоящему?! — шутливо спросил я.

— Перестань говорить глупости, — тихо сказал Костя. — Ты прекрасно знаешь, что бедность по всему миру не только не уничтожена, а, наоборот, усилилась...

— Ну, Костя, ты несешь какую-то ерунду! Бедность существует где? В Европе и в Америке, что ли? Во многих странах рабочие и зарабатывают больше, чем раньше, и работают меньше, имеют автомобили, телевизоры, радио, всякие электрические машины для домашнего комфорта. Государство их лечит бесплатно, обеспечивает старость, а ты говоришь: „бедность"! Посмотри на воскресную толпу даже здесь, в Афинах: все одеты, катаются в своих автомобилях, в каждом почти доме телевизор или радио, все кажутся довольными, и о бедности никто не говорит.

Костя грустно улыбнулся и возразил мне:

— Народ стал еще беднее, чем раньше. Все это кажущееся благополучие — одна мишура, созданная необузданным кредитом и широковещательной рекламой, заставляющей человека покупать все, нужное и ненужное, и все — в долг. В особенности это проявляется в автомобильном деле. Каждый молодой человек обязан иметь автомобиль, а не то ни одна девченка не пожелает даже посмотреть на него. И ему нужно тянуться за другими. Он влезает в долги, но приобретает машину, не обращая внимания на то, что в одной только Америке каждый год машины убивают 50 тысяч человек, а во Франции

— 15 тысяч. Не буду говорить о других предметах роскоши, ему не нужных, но навязанных ему рекламой. Да, ему платят больше, чем раньше, это верно. Но одной рукой ему дают, а другой у него все забирают дочиста. И если он теряет работу или заболевает, он все это теряет и жить ему не на что, так как сбережений почти нет.

— Да, — сказал я, — но во многих странах существует социальное страхование и от безработицы, а старость обеспечена домами для престарелых, где стариков кормят и поят до конца жизни.

— А ты пробовал когда-нибудь прожить на ту помощь, которую дают безработным, или провести хотя бы день в доме для престарелых?

— Что за идиотский вопрос! Конечно, нет, — сказал я. — Но откуда у тебя такие сведения? Ты что, жил как безработный или был пансионером в приюте для стариков?

— Не жил я, нет, но видел, как живут безработные и старики. Не густо, Колька, не густо. В Америке, в Англии, в Германии еще туда сюда, а в других странах живут эти люди, как говорили в детстве в Таганроге, „в натрусочку", перебиваются кое-как, вот и все. А рядом с этим идет такое швырянье деньгами нашим братом-богачом, что даже жуть берет. Сколько бедняков можно было бы . . .

— Слушай, Костя, — уже нетерпеливо перебил я оратора, — к чему ты разводишь всю эту „антимонию", как говорили в России студенты? Ты что, хочешь раздать все твое имущество, облачиться во власяницу и уйти в пустыню, где питаться акридами и диким медом и замаливать твои грехи, так что ли?

— Нет, я не собираюсь раздавать свое имущество, его и так заберут, если не налогами, то вполне возможной в недалеком будущем революцией. Акридами питаться — не нужно уходить в пустыню: сушеными и слегка прокопченными египетскими гусеницами угощают на всех приемах, как закуской перед званым обедом во всех домах высшего света в Нью-Йорке и даже в Афинах. Это даже считается особым шиком. За такое угощение я чуть не побил Харлашку, когда один раз обедал у него. Разницы между диким и обыкновенным медом не нахожу, если жулики продавцы не добавили туда муки или патоки.

Раздать мои деньги бедным? По тысяче драхм на каждую греческую душу не достанется, и это не будет решением вопроса.

Грабить богатых всю жизнь тоже нельзя, упрут за решетку так или иначе. Теперь ты видишь сам, что ни деньги, ни уход в пустыню здесь не при чем. Мои думки идут дальше...

— Дальше — куда? — поинтересовался я.

— Я думаю о грядущей революции, которою должна переболеть вся Европа, а может быть и весь мир, произнес Костя.

Я с недоумением посмотрел на моего друга, отхлебнул виски и спросил его:

— Ты завтра свободен?

— Да, — сказал Костя. — А почему тебе это нужно знать?

— Я хотел бы отвезти тебя в Афины к моему знакомому психиатру, чтобы он освидетельствовал тебя.

По-моему ты начинаешь сходить с ума, — сказал я. — Несешь какую-то чепуху, говоришь о какой-то революции... Я думаю, у тебя, — тово, „не все дома", — и я покрутил пальцем у виска.

— А по-моему, — сказал Костя, — не меня, а тебя нужно везти к психиатру, раз ты не обращаешь внимания на все то, что творится вокруг тебя, да и во всем мире тоже. Революция неизбежна, — это в моем понятии, а по мнению многих очень культурных людей она даже необходима для того, чтобы привести в порядок весь мир от царящего в нем бедлама.

— Костя, что я слышу! Опять революция нужна? И я слышу это от тебя, участника Ледяного похода и капиталиста! Одной что ли было мало на нашем веку в уже и так многострадальной России?! Если я не ослышался, то ты прав: вези меня к психиатру... Налей, кстати, мне еще немного виски, быть может я приду в себя. А так я ничего не понимаю.

Я был взволнован не на шутку. Да и было от чего волноваться: Костя, — читатель понимает, — Костя начал верить в грядущую снова революцию и даже верить в ее необходимость! Я вопросительно смотрел на него.

— Революция произойдет не в России, а на Западе, — сказал он, — и по всем признакам она неизбежна...

— Слава Аллаху, что не в России, а на Западе, — проговорил я...

— Погоди, не перебивай меня, — нетерпеливо одернул меня Костя. — В России революция уже произошла, и Россия медленно, рывками, но верно идет к национальному возрождению...

— Ну так чего тебе беспокоиться о Западе! Да, к тому же я сильно сомневаюсь, чтобы революция могла бы вспыхнуть на Западе. Народ здесь живет неплохо, а от добра худа не ищут. Не понимаю, почему тебе волноваться о Западе.

— А потому, что случись она на Западе, — в этот пожар будет втянута и Россия, а это развяжет руки азиатским ордам и послужит им предлогом занять все пространство от Тихого океана до Ламанша, понял, идиот ты этакий?

— Ничего не понимаю и не верю в твои эти воистину идиотские предсказания, но все же прошу тебя объяснить мне, почему ты так думаешь.

— Изволь, — сказал Костя. — Слушай же внимательно, разговор будет длинный.

— Да, потому что на Западе коммунистическая пропаганда ведется главным образом китайскими, запомни китайскими агитаторами. Этим господам как некогда Ленину и его сподвижникам — нужно захватить весь мир и подчинить его, включая и Москву, столице всего желтого мира — Пекину. И если дать китайцам возможность захватить провадку революции во всем мире — то от белого человека ничего не останется. Не сладко придется и черной расе на которых Китай смотрит с большим презрением чем на белых собратьев ... Этот процесс займет столетие таких зверств — таких ужасов, что Тамерлан, Аттила и герои по борьбе с „контрой" сталинских времен побледнеют в их могилах от зависти ...

„Но, ты, сказал, что революция нужна" ...

„Да, она нужна но только, чтобы она носила эволюционный характер" ...

„Революция? Эволюционный характер?" вскричал я.

„Да. Эволюционный. Москва потрясла октябрьской революцией весь мир. Ты это знаешь. Как и то во сколько обошлось это русскому народу. Весь мир знает об этом и не хочет повторять сценарии октябрьской революции у себя на дому. Благодаря влияния угроз красной Москвы жизнь рабочих по всему свету сделалось лучшей чем она была раньше. И это явление я уже разсматриваю как эволюцию, которая безболезненно устранить международное жулье устраивающее войны и революции для того чтобы набить себе еще больше их туго набитые карманы. Но это должны сделать объединенные белые народы, а не желтые сыны Поднебесной Империи — для которых белый-человек это враг и узурпатор — которую нужно уничтожить во всем мире.

И вот пока эти братья сидящая в Москве и в Вашингтоне — не сойдутся каким то образом, то желтая опасность о которой раньше уже много писалось, но туманно, примет грозныя реальныя формы с которыми справиться будет довольно трудно — да почти и невозможно.

— Всю твою жизнь ты, Колька, прожил, как человек в футляре. Твоими интересами были книги, которые ты читал запоем, да море. Женщинами ты не увлекался и не обращал внимания на все происходящее в Западном мире. Ты всегда витал в каких-то грезах, известных только тебе одному. Всю твою жизнь ты был на поводу и даже о делах наших ты ничего толком не знал. Я уверен, например, что ты даже не знаешь, сколько у нас денег, не так ли?

— А дьявол его знает! Не знаю...

— То-то! Я всегда считал тебя человеком не от мира сего. Я давал тебе свободу действий поступать, как ты хотел. Ты был для меня меньшим братом. Но я всегда следил за тобою, чтобы ты не попал в какую-нибудь неприятную историю...

— В неприятную историю? Я? Ты за мною следил? А битники в Нью-Йорке? А Людмила с Аринаки? Кто тебя выручал из этих бед? Не я ли, „человек не от мира сего?"

— То в счет не идет, — парировал Костя. — То были порывы страсти, порывы чистой любви к Людмиле, но все же я тебя оберегал, чтобы ты не попал в ту шайку крупных международных дельцов-акул, куда попал я. Я знал твое доброе до идиотства сердце: попади ты в эту компанию, то вполне возможно, что ты наделал бы черт знает каких глупостей, сидел бы, может быть, сейчас в тюрьме, как заядлый анархист, или же был бы нищим. А может быть сделался бы и похуже меня, живя среди этой братии. Ты не знаешь этих бандитов, как знаю их я. Я знаю все их неприглядные стороны, и у них же я и научился всякого рода деловым штучкам. Я подражал им вовсю и, научившись, оставлял далеко за флагом своих учителей. Я жил их жизнью, где человек человеку — волк, но всегда в овечьей шкуре, в обличье джентльмена, с широкой, приветливой улыбкой, застывшей на их звериных мордах, всегда готовых вонзить нож в спину даже своего лучшего друга или компаньона. Для них это плевое дело, заслуга даже, если хочешь.

Вот поэтому я и вел все наши дела сам, без тебя, и давал тебе только директивы для проведения опе-

раций в жизнь, но так, чтобы ты не знал настоящей, истинной подоплеки этих дел. Повторяю, я не хотел, чтобы ты попал вместе со мною в эту волчью стаю, потому что не хотел снова поссориться с тобой.

— Поссориться со мной? Почему? — недоуменно спросил я.

— А ты помнишь нашу единственную за всю жизнь ссору? Из-за гибели „Гордости Пирея”, унаследованного мною от тестя? Где ты плавал у меня третьим помощником.

После этого случая мы с тобою расстались, не виделись друг с другом несколько лет и даже не переписывались. А без тебя мне было крайне тяжело. Но я должен тебе сказать, — ты правильно раскусил эту махинацию, которая была проведена благодаря урокам, полученным мной от „честных коммерсантов”. Я взял тогда груз мрамора и повез его через глубину Полы в Адриатике. И даже если бы не было шторма, все равно старая калоша пошла бы ко дну.

Ведь старшему механику было приказано, за хорошую мзду, разумеется, открыть по моей команде кингстоны и потопить этот Ноев ковчег, сняв предварительно с него, конечно, весь экипаж.

Среди так называемых „честных дельцов” такого рода дела — нормальное явление, конечно, если оно удалось. Потопить корабль шито-крыто, и все концы в воду.

Были потом еще и другие дела. Похуже. О них ты не знал, ибо проводил их я сам. Но могу сказать только одно, — что на моей совести нет греха ни

за одну загубленную человеческую жизнь. Не так, как устроил одну такую комбинацию ... — и здесь Костя назвал одного крупного судовладельца.

— Что же он сделал? — полюбопытствовал я.

— В начале его карьеры в маленьких республиках Центральной и Южной Америки дела шли у него плохо, долги росли, наступали платежи по разным обязательствам, а денег не было. И вот он и устроил такую штуку: загрузил один из его четырех маленьких старых кораблей до отказу, взял палубных пассажиров, да еще и команде разрешил погрузить их личного груза для перепродажи на других островах, столько, сколько им хотелось. Ну, те тоже постарались, навалили груза еще больше, чем было, ведь каждому хочется заработать лишнюю копейку. Центр тяжести, сам понимаешь, был поднят до предела, и судно сделалось валким. Выйдя в море, попали в небольшой даже шторм, и корабль перевернулся и пошел ко дну с экипажем и грузом. Не был спасен ни один человек, и, значит, причина аварии установлена не была за отсутствием свидетелей (акул там кишмя кишит). Ну, судовладелец получил от страховой компании крупную сумму денег, уплатил долги. Дела пошли лучше, и потом он очень разбогател. Сейчас он ушел от дел и живет, всеми уважаемый, в Южной Европе. Сделался даже старостой какой-то церкви и молится, наверное, об упокоении душ больше, чем сорока человек, потонувших с кораблем.

Да, Колька, много я видел на своем „коммерческом" веку! — задумчиво промолвил Костя, раскуривая свою сигару.

— И вот теперь, на старости лет, стоя уже не одной, а почти обеими ногами в могиле, я начинаю, — продолжал Костя после небольшой паузы, — сомневаться в целесообразности и капитализма и капиталистического строя.

— Это ты-то сомневаешься? — иронически перебил я Костю.

— Да, я. Я не отрицаю значения капитализма в ходе мировой истории и в развитии культуры, которым он много помог. Но эта форма общественного строя уже отжила свой век. В особенности после того, как в среду пусть жестоких, но более или менее честных капиталистов старой школы начала просачиваться кучка беспардонных международных авантюристов, которым ничего не стоило, да и до сих пор ничего не стоит устроить никому не нужную кровавую бойню или уничтожить миллионы тонн зерна, чтобы удержать падающую его цену в то время как гибли и еще гибнут от голода миллионы людей. Им все это было и продолжает быть нипочем, лишь бы положить в свои бездонные карманы несколько миллионов, а там — хоть трава не расти. И вот, когда во всем мире главную роль играет такая банда, — революция становится неизбежной и закономерной, несмотря на все сопровождающие ее ужасы.

Аллегорически это можно выразить так: буйно разросся густой лес современного капитализма. Его деревья приняли огромные, уродливые формы, и они берут много драгоценной влаги и соков питающей их почвы, но не только плодов, но даже и достаточной тени они дают человечеству мало.

Выкорчевывать такие, ставшие паразитарными растения может только революция. Затем, на оставлен-

ных деревьях революция подрежет лишние ветки почти до самого ствола, и когда эти деревья снова окрепнут и разрастутся, они дадут людям и богатую листву и много плодов, которыми будет питаться голодное человечество.

Но, повторяю опять, что эта революция должна носить эволюционный характер — и должна быть проведена белым, а не желтым человеком.

— Этой „необходимости" и „неизбежности" революции, о которых ты говоришь, я как раз и не чувствую, но твердо знаю одно, — что у тебя, в твоей греческой голове, не все в порядке.

— Это почему?

— Да вот ты сейчас сказал, что только революция может выкорчевать деревья капитализма...

— Да, сказал, а дальше что?

— А вот, мой драгоценный Костинька, — в России уже больше полусотни лет выкорчевывают такой лес, а толку все что-то мало...

— Господи, какой ты, Колька, идиот! Толку, говоришь, мало? Да ведь Россия стоит сейчас на втором, а в некоторых случаях и на первом месте во многих отношениях, с Америкой рядом. А ты говоришь „толку мало!"

— Возможно, что это и так, — возразил я. — Но сколько миллионов человеческих жизней стоили эти первое и второе места русскому народу, и подумать страшно. Ты это забыл? Ты забыл, что когда-то не только проклинал эту революцию, — съязвил я, — но, насколько помнится, ты даже старался ее пода-

вить. Не мы ли с тобою вместе пошли войною на первую Красную армию?

— Да, все это было, — сказал Костя. — Он умолк, задумавшись, а затем медленно и значительно проговорил:

— Знаешь что? Если бы до революции я знал бы то, что узнал потом, на своем веку, работая и учась среди этой европейской плутократии, то я сильно сомневаюсь в том, пошел ли бы я служить в Белую армию. Скорее — в Зеленую, а нет — так и в Красную.

— Костя, ты сошел с ума, для меня это теперь ясно! Ты что, коммунистом желаешь, может быть, заделаться?

— Нет, — сказал Костя. — Коммунизм так же, как и капитализм, уже устаревшая форма жизни человечества, но нужно сказать, что коммунизм сыграл роль рычага, который должен поставить весь мир людской на новую дорогу...

— Костя! Еще раз: для меня совершенно ясно: ты сошел с ума!

— Нисколько! — ответил Костя. — Ты вот много читал, учился разным наукам, а не знаешь, что происходило в мире дипломатии, политики и финансов в Европе до 14-го года, когда мы с тобой были еще мальчишками.

— Буду рад, если ты просветишь мои темные мозги в этой области. Я слушаю!

Подумав немного, Костя заговорил:

— Ты, конечно, знаешь о несчастьях, постигших Францию после войны 1870 года. Пленение Наполеона Третьего при сдаче Седана, потеря Эльзаса и Лотарингии и масса других неприятностей. И все же, несмотря на такого рода бедствия, Франция, благодаря ее трудолюбивому народу, прекрасному географическому положению, да еще вдобавок богатым колониям, стала на ноги. Ее экономический рост был изумительным. К концу 19-го столетия Франция снова была первоклассной державой и одной из богатейших стран мира.

Англия продолжала быть повелительницей морей. Ее колонии были разбросаны по всему миру, давая ей огромные доходы, но ей не нравился экономический рост Германии, — немецкая конкуренция в мировой торговле. С Францией, ее вековечным врагом, она дружила, но это было только „для вида".

Положение же рабочих и хлеборобов почти по всей Европе было весьма и весьма незавидным. Эксплуатируемые, они едва-едва сводили концы с концами. Но наученные частыми войнами и полуголодным существованием рабочие начали объединяться и уже объединенными пытались как-то бороться против царящего произвола. Все их попытки улучшить свое экономическое положение забастовками всегда сурово подавлялись.

— Костя! Мне эта азбука тоже хорошо известна. Причем здесь война 1914-18 годов?

— Погоди! Пушечные короли всей Европы были, негласно, конечно, тесно связаны между собой разного рода секретными договорами и соглашениями. Вот они-то представляли собой одно целое. Они

жили для войны и войной наживали несметные состояния. Для них было совершенно неважно, где и когда начать войну. Тебе это ясно?

— Допустим, — согласился я.

— Так вот: этой братии самой, конечно, начать какую-либо войну было невозможно. Но, обладая громадными капиталами, они бросали огромные суммы на пропаганду войны между всякими странами, большими или малыми, неважно где, в какой части света. Все равно, хороший заработок должен попасть в их карманы...

— Ну и тянешь же ты, Костя! Ближе к делу! Причем здесь война 1914 года?

— Хорошо, буду говорить кратко. Аппетиты стальных королей росли. Маленькая балканская война их уже не удовлетворяла. Им была нужна бойня большого размаха. Для начала — хотя бы между Францией и Германией, а потом будущее покажет. Сталелитейная промышленность расширялась, оружие нужно было пускать в ход...

Рядовому французу или немцу чувство мести или желание захватить чужие земли было неизвестно, но верховоды германской политики все время усиленно вооружали свою страну в ответ на вооружение Франции. А вооружалась Франция весьма серьезно. Для предстоящей войны ею была уже найдена и верная союзница, — Россия и на такую же роль была намечена и Англия.

Призывы к войне не прекратились даже тогда, когда дошлыми левыми газетами было установлено и доказано, что деньги на пропаганду войны дава-

ли... немецкие пушечные короли. Даже это разоблачение не могло прекратить пропаганды войны. И многим ясным головам стало тогда ясно, что войны не избежать.

В свою очередь, германскому императору Вильгельму и его правительству такая пропаганда была только на руку: только благодаря ей кайзер получал от германского народа в лице рейхстага огромные суммы денег на вооружение для будущей войны.

Умело проводимая пропаганда приносила свои плоды. Французский народ начал ненавидеть немцев, а те в свою очередь, не оставаясь в долгу, требовали войны против Франции.

Акции сталелитейных заводов поднимались в цене бешеным темпом. О будущей войне говорили открыто. Как теперь пишут, даже время для начала войны было назначено. А знаешь, как тогда, да и по сие время старые дипломаты называли войну 1914-18 гг.?

— Нет, не знаю.

— „Войной Сазонова и Пуанкаре", которые за несколько лет судили и рядили, и решили начать войну. Правда, они сами были лишь марионетками в руках международных финансовых тузов, но и от них все же многое зависело.

Сигналом к войне, как ты знаешь, были прозвучавшие на весь мир выстрелы серба Принципа в Сараеве. В августе 1914 года русские войска вступили в Восточную Пруссию, чья земля была обильно орошена кровью русских и немецких солдат.

Мы с тобой помним тот патриотический подъем, который охватил всю Россию в те дни. Были забыты

разногласия между всеми политическими партиями страны. Огромные манифестации с лозунгами: „Крест на св. Софию!", „Дарданеллы наши!", „Война до победного конца!" происходили по всей Матушке России. А что было на деле? Этим торговцам смертью, стальным и пушечным королям и шайке финансистов, было уже мало астрономических доходов от войны. Они уже с вожделением смотрели на нефть, это „черное золото", которым природа так щедро одарила весь Ближний Восток. И в разгар войны, когда русские солдаты умирали сотнями тысяч, отвлекая немецкие войска с западного фронта на восточный и тем спасая Францию от поражения, тогда Франция и Англия подписали секретный договор, по которому они поделили все арабские нефтеносные земли между собой, не дав России ни одного квадратного вершка этой жирной добычи. О Дарданеллах и речи не могло быть, чтобы отдать их России. Этот секретный договор известен как соглашение Sykes-Picot и хранился он в военном музее Венсенского замка около Парижа. О нем пишет в свей книге "Days of Our Years" знаменитый журналист Van Paassen. Книга издана Hillman Press в Нью-Йорке в 1939 году, и ты можешь найти это сообщение на стр. 141.

— Господи! Костя, откуда у тебя такие сведения? Как ты раскопал эту книгу?

— Ты думаешь, что во время моих плаваний я только пил да за бабами волочился? — с улыбкой спросил меня Костя. — Нет, брат! В море я много читал. Затем, когда дядя Миша поселился в Греции, то и от него я почерпнул немало. А он знал много таких вещей, что ни тебе, пи мне они даже и не снились. Потом, когда Людмила вышла замуж за Ари-

наки и мы вернулись в Грецию, вот тогда я стал довольно серьезно работать над собой. Увлекался я главным образом историей, историей дипломатии, социологией и философией и по-этому кое-что знаю из того, что не каждому дано знать . . . Но не отвлекай меня вопросами, дай мне кончить то, что я хочу тебе сказать.

— Валяй! — согласился я.

— Мало кому было известно, что Германия рассчитывала на быструю победу в войну 1914 года. Долгой войны она вести не могла, снаряжения и запасов у нее было максимум на полтора года, и союзники, если бы они захотели, могли бы кончить войну поражением Германии еще в 1915 году *). Но такая быстрая победа окончила бы торговлю военной контрабандой, дававшей миллиарды долларов дохода той же шайке международного жулья, которая эту войну и затеяла.

— Какой военной контрабандой? — удивился я.

— Простой. Германия через Голландую и Скандинавские страны, и Швейцарию получала необходимые ей для ведения войны материалы. И из Америки, и от ее врагов, союзников России. Такой же торговлей контрабандой занимались и немецкие капиталисты-заводчики. С самого начала войны почти до 1918 года заводы Круппа в Эссене отправили во Францию, ты понимаешь: во враждебную Францию, 250 тысяч тонн стали через Швейцарию, стали такой нужной в то время французским стальным королям. Расчет производился только золотом.

*) Van Paassen, "Days of Our Years", стр. 75.

Вдобавок к этому французской авиации было запрещено бомбить шахты железной руды, которые были заняты немцами в начале войны, и также немецкие сталелитейные заводы.

— Да, и я что-то слышал об этом, но мне как-то не верилось, — сказал я.

Костя грустно улыбнулся.

— Поверишь! Это только цветочки, ягодки будут впереди...

Захваченные французским флотом корабли, шедшие с грузом руды боксита для выделки никели из Каледонии в Германию, мирно отпускались французским морским судом. Шли они в Гамбург или Бремен.

Представители немецких химических трестов, швейцарских меди, английских амуниционных заводов, французской стали, во главе с Шнейдером Крезо, и другие собрались на совещание в Вене, когда шла кровопролитная резня на полях Фландрии. Причиной съезда этих хищников было желание как-то найти возможность затянуть войну подольше, чтобы можно было продолжать наживать миллиарды. И дело пошло: Франция давала Германии руду для выделки стали и никеля, нужного для постройки цеппелинов. Немцы цеппелинами бомбили Лондон. Французы за это получали от Германии авиационные моторы и магнето для французских самолетов, бомбивших Германию.

Проволочные заграждения английской армии на Ипре, на которых буквально повис весь баварский гвардейский корпус, сделанные из самой ужасной колючей проволоки, изготовленной уже во время

войны в Германии, имели такое же происхождение. Попала эта проволока в Англию через Голландию, и англичане применяли ее довольно успешно. Такие сделки делались запросто. А в то же самое время ежедневно гибли тысячи солдат обеих враждующих сторон.

Такая торговля шла вовсю с благословения и при поддержке этого международного жулья, которому было все равно, на кого плевать. Они контролировали все и вся. И они же для прикрытия своих темных дел создавали в воюющих странах шпиономанию, доходившую до истерики и унесшую в могилу тысячи ни в чем не повинных людей.

Требования, бунты и восстания рабочих, малейшее неповиновение на фронте, да и в тылу, преследовались и наказывались весьма жестоко. Кончать войну было нельзя. Нужно было наживать еще больше миллиардов, а поэтому: „война до победного конца!"

Повторяю тебе, Колька, что с ослушниками на фронте, и в особенности во французской армии, расправлялись немилосердно. Из русского экспедиционного корпуса во Франции, покрывшего себя неувядаемой славой в боях на полях Франции, было разоружено и расстреляно несколько тысяч человек, по словам Черчиля в его книге „История первой мировой войны". Их расстреливали за отказ продолжать войну, когда русская армия вышла из строя.

Всей войной 1914 года оперировала шайка международных аферистов, среди которых не было, к моему удовольствию, ни русских, ни американцев.

Высшее союзное командование спокойно рассчитывало закончить войну в 1919 году, но этому намерению помешали волнения среди французских рабочих, которых за их протесты хотели отправить на фронт... заменив их американскими рабочими. На это намерение рабочие ответили резким протестом и пригрозили общей забастовкой, почему их и оставили в покое. Появилась боязнь возможной второй революции.

Международная клика решила кончать войну, в которую была втянута и Америка, потребовавшая немедленно провести полную экономическую блокаду Германии. Сразу проведенная блокада на суше и на море заставила Германию понять, что ей пришел конец. Она сделала еще несколько последних усилий и сдалась на милость победителя. Война 1914-18 гг. была закончена.

Вильгельм уехал рубить дрова в Голландию, император Карл австрийский — в Лозанну, турецкий султан с гаремом в полном составе отправился на своей яхте на какой-то остров в Эгейском море. Болгарский царь Фердинаид поехал ловить бабочек, и только несчастный наш Император Николай II, со всей его семьей был предан безчеловечно жестокой смерти в Екатеринбурге до окончания мировой войны и до подписания мирного договора.

В России „великая бескровная" переходила в кроваво-бурный поток, начиналась гражданская война. Белым армиям была обещана помощь союзников.

Так вот, Колька, знай я эту закулисную историю войны 1914 года, знай я, что союзники хотели сделать, да и сделали с Россией, в какую, ты думаешь, армию я поступил бы?

Рассуждая логично, снова надеяться и опираться на союзников? Идти в Белую армию, чтобы если не быть убитым или искалеченным, очутиться после ее разгрома за рубежом, как это и случилось впоследствии? И получить в награду за войну место судомоя в царьградском ресторане? Или же пойти с самого начала со своим, пусть озверевшим, жестоким, но все же своим народом? И если уж умереть, так умереть на своей земле, а не где-нибудь в Галлиполи. Поэтому-то я и думаю, что если бы я знал все это, я пошел бы служить в Красную армию.

— Да, Костя, возможно ты и прав в том, что умереть на своей земле все же лучше, чем влачить жалкое существование какого-то бесправного пария за рубежом... Но это, Костя, если умереть на земле, а не под землей, в подвале Чека, от пули желторотого ококаиненного чекиста. Погибнуть так, ни за понюх табака! И только за то, что ты любил Россию, не хотел ее развала? И в таком случае ты тоже пошел бы служить в Красную армию?

— А ты? — задал мне вопрос Костя. — Мои разоблачения о наших союзниках на тебя не подействовали?

— Нисколько. Возможно, что это дон-кихотство, но я рад тому, что служил в Белой армии. Ты помнишь, что нас было только три-четыре тысячи бойцов, стариков-офицеров да нас, юнцов, объявивших войну Москве и целой России. Да, мы хотели остаться верными союзникам, о вероломстве которых мы не знали, как не знали и того, что творилось за кулисами войны 1914 года.

Вполне возможно, что были мы тогда наивными, и вышли мы с тобой в Ледяной поход *), 9 февраля 1918 года, даже после того, как 7 тысяч опытных боевых офицеров-фронтовиков решили на устроенном ими митинге нас не поддерживать. Но это нас не смутило. Наивно мы вышли в поход, наивно дрались, но не наивно создали довольно могучую Добровольческую армию, которая задала немало перцу Красной армии, брошенной против нас.

И не наивно мы верили в возможность нашей победы над Красной армией. Мы умирали на земле, не под землею, умирали, оставаясь верными России и зная, что победа уже не за горами. А случись так, то не вериться, что возможные козни союзников помешали бы делу восстановления России. Насколько мне помниться, и ты тоже в свое время верил в это... Так я не понимаю, причем здесь Красная армия. Поясни!

— Поясню, — сказал Костя. — Знай старое русское правительство, что существует международная шайка финансистов, управляющая многими прави-

*) Это маленькая армия и была началом большой Белой Армии — которая вела войну против красных до начала ноября 1920, — а потом была вынуждена с боем уйдти за границу.

Этот Ледяной Поход не следует смешивать с Сибирским Ледяным походом ген. Каппеля, который начался отходом из Самари и пройдя в нечеловечески трудных условиях закончился где то в Приморье, а потом раздробленные части попали в Китай. 1-й Кубанский Ледяный поход начался в Ростове на Доне 9-го февраля 1918 г. — продолжался к мая месяца 1918 г. Когда Белая армия под начальством ген. А. Деникина вернулась из похода в Ростов/Дон — и началась серьезная гражданская война до 1920 — закончившаяся поражением белой армии.

тельствами мира, оно, возможно, не миндальничало бы и не ввязалось бы в войну, принеся в жертву, и впустую, много миллионов русских жизней. Но представь себе войну без участия в ней России?! Кто бы ее ни выиграл — неважно, но Россия осталась бы самой сильной страной во всем мире. Поэтому-то Россию и втянули всяческими путями в эту ужасную войну.

И уже в самом начале этой кровопролитной и ненужной нам войны Россию, несшую громадные потери, защищая союзников, решили околпачить. Было уже условлено не дать ей ни арабской нефти, ни, тем более, проливов, таких нужных России. Но все же Россию продолжали бояться, даже истощенную войной и обойденную в дележе добычи. Большая все-таки была страна... — Костя умолк, как будто что-то соображая. — Мне, Колька, кажется, что многие европейские дипломаты искали возможности не только объегорить Россию, но и вывести ее из строя на многие годы. Но как это сделать, они не знали и на этот вопрос ответа не находили...

А ответ нашелся сам собой. Что греха таить? Жизнь народа в старой России, сам знаешь, была несладкой, и для многих мыслителей революция была неизбежной. Она грозно надвигалась и остановить ее движение не было почти никакой возможности. И она грянула...

Что нам с тобою пережевывать эту жвачку! Помнишь сам: Керенский, Ленин, Троцкий, Брест-Литовский мир, зверства, наступивший хаос и начало гражданской войны открыли дипломатам и международной шайке глаза на блестящие возможности сбросить Россию со счетов. Дать революции углублять-

ся, а если вспыхнет гражданская война, — тем лучше. Будет так, как было когда-то в Китае, где гражданская война длилась полвека. Заодно с Россией вывести из строя Германию, Австрию, Турцию и даже Болгарию.

Так оно и случилось. В России по всем почти окраинам началась гражданская война. Союзники помогали белым армиям. В свободных от красных окраинных областях были основаны самостоятельные республики, признанные и поддерживаемые союзниками, а природные богатства, хотя бы, например, Кавказа, были уже разделены для их эксплуатации между различными державами Европы. Тому — нефть, тому — медь, этому — марганец, а тому — лесные богатства этой части России.

И если бы белые армии одержали победу, — от России остались бы лишь рожки да ножки...

— Это почему же? — перебил я рассуждения Кости.

— Да потому, во-первых, что за помощь белым армиям нужно было бы платить, да еще как платить! А во-вторых, обессиленная войной и междоусобной бранью, Россия должна была потерять все свои окраины, ставшие самостоятельными державами и признанные всеми великими государствами мира, а тогда что? Возврат в допетровскую Русь что ли?

Костя замолчал, как будто над чем-то раздумывая, а потом продолжал:

— Случилось же то, что, я думаю, было известно белым вождям...

— А что было им известно? — спросил я.

— Да, то, что в глубине души они, я думаю, знали, что расчеты на победу белых над красными имели мало оснований. Оно так и случилось. Мы были разбиты на всех фронтах и нам пришлось уйти за рубеж. Вся Россия была залита волной марксизма и военного коммунизма. Трудно было понять, когда прекратится террор, да и прекратится ли он вообще. Ты это знал и сам, но мы были тогда за границей и боролись за существование, за кусок хлеба, а политика нас интересовала мало: быть бы живу, и то уже хорошо!

И вот только за последние годы мне удалось установить один факт: международные заправилы были очень довольны тем, что происходило в России. Как важный фактор она перестала для них существовать. Буферными государствами и знаменитым санитарным коридором Данцига Россия была изолирована от Европы и с ее стороны угроза для Запада более не существовала и не могла появиться еще долгие годы. Еще очень долго в России будет продолжаться этот бедлам, и она должна будет распасться на все свои составные части.

А сейчас для Запада — тишь, гладь да Божья благодать! Так рассуждали международные заправилы. Но на этом-то они и просчитались. Они или не знали, или не хотели знать, что Ленин, несмотря на все его отрицательные качества, был гениальным фанатиком распространения коммунизма во всем мире, и Россия была для него только первым этапом для воплощения его идеи в идею мировую... Но об этом после...

И стало, значит, так: побежденные союзниками страны, подписавшие самый позорный мирный дого-

вор, влачили жалкое существование, побежденная Россия была изолирована, и заправилы мира решили, что им „тепло, не холодно и не дует", бояться нечего и надо жить вовсю.

Захваченные турецкие нефтеносные земли были честно поделены между союзниками, и мир всему миру был обеспечен наскоро организованной в Женеве „Лигой Наций", и все, казалось, было в порядке.

Набившие карманы международные акулы предавались самому отчаянному разгулу по всем злачным местам всего мира, главным образом в Европе.

Разврату, царившему в те времена, не было ничего подобного во всей истории рода человеческого. В ночных кабаках рекой лилось шампанское, пожирались горы свежей икры, съедались блюда изысканной кухни, и в то же время повсюду воздвигались памятники героям-патриотам, павшим на поле брани, защищая родину от врага.

От такого образа жизни публика эта жирела не по дням, а по часам. Врачам — специалистам по похудению они платили бешеные деньги, чтобы те снова сделали бы их стройными, худощавыми и молодыми. Это происходило тогда, когда в большей части нашей планеты миллионы людей только и думали, как-бы утолить голод их семейств хотя бы куском хлеба. Пшеница сжигалась в паровозных топках аргентинских поездов, а в Бразилии даже начали делать мебель . . . из кофе. Предпринимались все, лишь бы не спускать цену на хороший урожай многих продуктов. В это же время в Германии, Австрии и России люди пухли и умирали от голода.

Зато в „свободном" мире шла вакханалия кутежей, дебоширства и безумного швырянья грамадными суммами денег. Женские моды, этот бич человечества в экономическом отношении, дошли до того, что одна англо-саксонка, отправляясь в воздушный рейс, заказала себе фуфайку из специально приготовленной золотой ткани. Простая шерсть была слишком вульгарной для нее. А в это же время во многих городах, разрушенных войной, женщины носили платья из старых газет (Австрия).

В общем, эта международная публика развлекалась во всю, не обращая внимания на то, что во многих странах, даже победительницах, растет безработица, а в странах побежденных царит экономический бедлам. И в эти-то страны и начал уже просачиваться дух русского коммунизма. Ты сам знаешь, что голодного человека легче всего привлечь приманкой „рая на земле". Почти во всей Европе начали вспыхивать беспорядки, и революционное движение разрасталось.

Тогда международная клика как будто очухалась, и ее представители стали придумывать выход из положения, который спас бы их шкуры и их капиталы. Немецким стальным королям ими были отпущены кредиты, и их заводы были пущены в ход. Сталь же шла главным образом на изготовление вооружения и, в частности, пушек. А пушки что? В музеи будешь их ставить, что ли? Они нужны для войны, а войны пока что не предвиделось.

Экономический кризис тем временем не уменьшался, и московская пропаганда на Западе все увеличивалась. Русский коммунизм, пусть еще слабый, чтобы представлять угрозу для всего мира, все же на-

чинал быть опасным для международной клики. Положение становилось серьезным... Но оно было спасено появлением на мировой сцене двух человек: маляра — Гитлера и незадачливого журналиста — Муссолини, отчаяннейших, 24-каратных демагогов. Эти господа объявили себя „врагами коммунизма”, что и требовалось в этот момент.

Идеология Гитлера и Муссолини была чужда правительствам Германии и Италии, и их „армии” могли бы быть рассеяны в 24 часа, но угроза вмешательства в конфликт одной крупной европейской державы сделала то, что и Гитлер и Муссолини захватили власть в своих странах.

Обоим этим господам было дано европейскими странами благословение на борьбу с коммунизмом и, конечно, самые широкие кредиты. Америка в этой махинации не участвовала, а страны помогавшие Гитлеру и Муссолини в начале их карьеры, были впоследствии разбиты Гитлером наголову. Но это было потом, а пока что все пошло „нормально”, свистопляска вооружений для будущей войны началась, и для международной клики „на Шипке все было спокойно”.

— Костя, зачем ты мне все это рассказываешь? Ведь я тоже кое-что знаю из прошлого.

— Я говорю тебе все это только потому, что хочу дать тебе более или менее стройное понятие о прошлом в его целом, что необходимо для дальнейшего разговора о России.

— Раз так, то валяй, я слушаю.

— Россия, отделенная от Европы, продолжала в это время истекать внутренним кровоизлиянием.

Гражданская война окончилась поражением всех белых армий. Усиливался „красный террор", начатый с благословения основоположников коммунистического строя. Террор, неслыханный по своей жестокости за всю историю рода человеческого, продолжался и после воцарения Сталина. Летели щепки от рубки векового русского леса. Беда была только в том, что этот лес рубил не русский мужик, почти рожденный с топором в руках и знающий, как нужно его рубить, умевший тем же топором, без единого гвоздя, построить и дома, и дворцы, и такую чудесную церковь, которая и по сей день стоит в Кижах.

Уничтожался древний русский лес главным образом инородцами, как, например, латышами, китайцами, венграми Бела Куна и другими, не имевшими никакого понятия о рубке леса.

Латыши сыграли самую крупную роль в начале красного террора на Земле Русской. Первая всероссийская ЧЕКА находилась в руках латышей — Питерсена, М. Лациса и Петерса, стоявших наряду с такими личностями как поляки Дзержинский и Менжинский и русский Кедров. Особо „почетное" место среди этой братии занимает палач латыш Мега, который, вернувшись к себе на родину, хвастался тем, что собственноручно расстрелял 10 тысяч человек *).

Эти люди, пришедшие с Запада, громко именовавшие себя „пролетариатом" и „жертвами капиталистического строя", с садистским наслаждением истребляли русский народ массами, как бы в отместку ему, ни в чем неповинному, за эксплуатацию рабочих всего остального мира.

---

*) Ю. Сречинский.

Создавалось впечатление, что на плечи России и ее народа была взвалена расплата его кровью за все грехи мирового капитала, выжимавшего соки из рабочих в продолжение долгих лет. И в то же время русскому народу вдалбливали в голову, что Россия предназначена перестроить весь старый порядок во всем мире на новый лад.

Тогда, Колька, я не чувствовал, не понимал, но теперь мне верится, что эта грандиозная перестройка мира, о которой вещал Ленин, по решению какой-то мистической силы, управляющей всем миром, могла быть взвалена на плечи только русского народа. Народа, который на протяжении всей его мрачной истории перенес столько, что если бы только одна маленькая часть его испытаний выпала на судьбу другого народа, то от этого другого народа не осталось бы даже и воспоминания.

Много несчастий выпало на долю России за ее больше чем тысячелетнее существование. И русский человек не то что примирился с ними, — он примирился с своей судьбой...

— О каких несчастьях ты говоришь, Костя? — спросил я, пораженный серьезным тоном Кости Попандопуло.

— Сколько людей погибло от нашествий разных там половцев, печенегов и других враждебных племен? Сколько народу погибло во время княжеских междоусобиц, людей родных им по крови, по духу и по вере православной? Сколько было уведено в плен и продано затем в рабство? И подумать страшно...

Сколько русских жизней было загублено под игом татарским, когда Россия стеной стояла в продолже-

ние двух с половиной веков, защищая вся Европу от захвата ее азиатами, Богу одному известно...

Разгром городов русских самими же русскими правителями, враждующими друг с другом, в особенности Новгорода Иваном Третьим и Иваном Грозным, да еще с благословения московского духовенства, во что они обошлись русскому человеку? Лучше об этом и не вспоминать.

А Смутное время? А нашествие Карла Двенадцатого? А пугачевское, Стеньки Разина и булавинское восстания? А Наполеон? А вот еще недавно Гитлер с его полчищами?

Я уже не буду говорить о разных других войнах, нужных России и не нужных. Сколько людей легло костьми и в Смуты, и на поле брани, да и на других заданиях двух династий, Рюрика и Романовых, и во время 300-летнего крепостного права?

Сколько мужика погибло при постройке блистательного Санкт-Петербурга, тебе это известно? На постройке только одного Кронштадта погибло 800 тысяч лошадей, перевозивших строительный материал по льду, и народу тоже погибло не мало...

Всех их и не перечесть. Но важно только одно, то, что Россия жила, живет, будет жить и никогда не пропадет. Так, после каждого лихолетия и потрясения Россия не только подымалась и становилась на ноги, но еще и отбирала утерянное и во многих случаях приобретала новые владения.

По избрании царя Михаила Федоровича Романова русско-польская граница проходила всего-навсего в 14 верстах от Москвы. Польша была тогда сильной дер-

жавой. В царствование Алексея Михайловича были отвоеваны не только взятые поляками земли с городами, но были отобраны и другие древние русские города, находившиеся в польских руках в продолжение чуть ли не веков. И Россия снова стала могучей страной.

Такая особенность России, опускаться чуть ли не на дно морское, так сказать, а потом за облака подыматься, не нравилась многим иностранцам, критически настроенным против русского народа, не любившим и боявшимся России. Раздраженно удивлялись они тому, что, мол, у русских и того нет, и это отсутствует, о многих вещах русские даже и не слыхали никогда, а вот — на тебе!

Казалось, что уже Россия с ее диким, жестоким народом погибла раз и навсегда, а вот теперь, — смотрите: снова, как легендарная птица Феникс, возрождается она из пепла и, взмахнув могучими крыльями, подымается на такую высоту, о которой ненавистники России и мечтать не могли.

Диву давались иностранцы, свидетели таких явлений. Объясняли это тем, что, мол, эти жестокие русские дикари, боясь новых и более сильных жестокостей, исполняли волю их правителей. На деле это было не так. Русский народ никогда не привыкал к жестокостям, как об этом пишут иностранцы, да и некоторые русские зарубежные борзописцы историки. Русский народ, повторяю, не привыкал, а лишь мирился с жестокостями, веря в то, что беды эти он перенесет и преодолеет их.

— Почему? — спросил я.

— Благодаря его духу, огромному терпению и великой любви к земле русской. Крепко он к ней привязан и будет переносить все, любую власть, царящую на его родине, только чтобы не отделяться от нее. И если ему придется, то он и умрет за нее без ропота. Не нужно забывать и того, что и православие играет до сих пор большую роль в жизни русского человека.

— Ты в это веришь? — перебил я Костю.

— Да, верю, — сказал Костя. — Все эти особенности русака не нравились первым вождям октябрьской революции и не входили в их расчеты. Они мечтали молниеносным порядком захватить весь мир и создать одну коммунистическую семью на планете Земля. Без этого захвата, сам понимаешь, всякого рода „сосуществования" были, да и еще продолжают быть вещью крайне трудной, почти невозможной. Слишком разны и противоположны понятия двух враждующих лагерей. Для распространения коммунизма по всему земному шару, в международном плане, так сказать, нужна была международная армия пролетариата, своего исторического родства не знавшего, своей родины не признававшего. Почему первые вожди коммунизма в России и решили создать из бойцов этой армии первый международный отряд такого пролетариата.

Они искореняли всякое национальное чувство, всякую привязанность к земле русской, к истории России, к культуре прошлого, ко всему, что создало великую Россию. В начале октябрьской революции еще Ленину удалось положить начало такой армии тремя фразами: „пролетарии всех стран, соединяйтесь", „мир хижинам, война дворцам" и „грабь награбленное!"

С этими лозунгами он углублял революцию, искореняя главным образом привязанность русского человека к его вере (религия — опиум для народа), к земле и ко всему культурному прошлому великого народа.

Продолжал такие дела Ленина после его смерти и сам „великий" Сталин. В его „царствование" вышла в конце 20-х годов „Малая Советская Энциклопедия", ныне в Советской России запрещенная. Прочти несколько страниц оттуда, она у меня стоит на той полке, — и ты увидишь сам, какие „перлы" там напечатаны.

В этом „шедевре" говорится, что большинство великих русских классиков, — писателей, поэтов, музыкантов, мыслителей, художников, признанных не только старой Россией, но и всем миром, вообще ничего не стоили. И они были оплеваны и обруганы самым хамским, полуграмотным способом. Этот же способ проводился под сурдинку людьми, знавшими, что они творять, и для чего они распинают старую русскую историю и русскую культуру. Некоторые из этих „сотрудников" и составителей „энциклопедии" перекочевали за рубеж. От своего прошлого они отказываются и от него отплевываются, но вред, ими нанесенный всему русскому народу куда хуже зверств Сталина.

Ведь они же писали, что, мол, ничего хорошего в старой России не было, а посему нужно идти вперед, не оглядываясь назад. Сзади — пустое место... Смотреть только вперед, верить и бороться за тот день, когда солнце международного коммунизма будет освещать весь земной шар. И притом — одинаково для всех!

Да! Ильич не только углублял революцию, но нужно отдать ему должное, — он учил народ. Пусть однобоко, но учил, истреблял неграмотность. И уже подученному кое-как русаку надел на его могучие плечи куцеватое одеяние западно-европейского рабочего, и в каторжных условиях полуголодного существования началась полукустарная стройка страны, пошла неуверенно, но все же пошла электрификация по всей матушке России...

А вместе с тем широко внедрялась во всех и во вся „политграмота”. Но вот этого русского пахаря, даже и учившегося когда-то в детстве чуть ли не по Псалтырю, заставили читать хотя бы по складам „Капитал” Карла Маркса и пресловутый труд Ильича: „Эмпириокритизм и материализм одной реакционной философии”. Плевались, ругались, но читали. Нужно было просвещенным пролетариям учить все новое и забыть все старое, русское.

Да! Ильич ничего не жалел для просвещения темных масс, жертв прошлого „кровавого режима”, спасенных его, ленинской революцией. Он даже отменил вначале смертную казнь, но после убийства Урицкого, почуяв опасность для своей власти, он ввел в систему такой кровавый террор, что небу жарко стало.

В его рвении провести свои идеи в жизнь, он дошел до того, что сказал однажды, что если для торжества коммунизма ему нужно будет уничтожить 90% всего русского населения, он не остановится и перед такой мерой.

— Ну, это Ильич содрал у Робеспьера, — напомнил я Косте. — Робеспьер ляпнул тоже что-то

в этом роде, что, мол, если ему нужно будет провести полную революцию, то он, если это будет необходимо, превратит всю Францию в кладбище. Он сам погиб на эшафоте революции вместе со своим братом...

— Не перебивай меня твоими мудрыми изречениями. Я их и без тебя знаю, — нетерпеливо одернул меня Костя. — Я хочу тебе сказать только то, что Ленин, жестоко проводя в России идеи коммунизма, в глубине души оставался все же русским человеком. Он этого не показывал, но своих идеологических противников выпускал заграницу, высылал их, не применяя к ним смертной казни. В этих „милостях" чувствовался русский интеллигент старой революционной закваски.

— Но весьма сомнительная честь установления кровавого террора принадлежит, конечно, ему, Ильичу, не забудь этого.

Костя многозначительно посмотрел на меня, отпил виски, раскурил сигару и продолжал:

— И невзирая на террор, Ильич делал все же кое-какие поблажки.

— Какие именно?

— Хотя бы вроде НЭП-а. А затем, на пороге какого-то большого изменения в линии партии, о чем знал только он один, Ильич ушел в другой мир.

Его место занял Сталин, который продолжал проводить „заветы Ильича", но в более ужасной, зверской форме. Сталин знал, что для решения такой планетарной задачи как насаждение коммунизма по всему земному шару ему будет нужна сильная индустриальная страна, населенная покорными его воле

рабами-автоматами, слепо исполняющими его приказы. И он вздернул на дыбы этого уже уставшего, но еще могучего коня, — Россию...

— На спине которого сидело 180 миллионов всадников, — вставил я. — Сколько их попало в руки заплечных мастеров шайки Берия и ему подобных типов? В концлагеря? В ссылки? Сколько оказалось вдов и сирот и разбитых семейств? Сколько погибло ни в чем неповинных ученых, священников и вообще русских людей, не признававших коммунизма, чуждого их натуре? Ты хочешь оправдать такой ужас, что ли?

— Я не оправдываю ужасов революции и в особенности злодеяний Сталина, Берия и компании. Сколько миллионов людей погибло от рук сталинских палачей, этого точно никто не знает. Но много, очень много. Да погиб и цвет русской культуры вместе с простым, ни в чем неповинным народом. Порою мне казалось, но только казалось, ты понимаешь? что какая-то враждебно настроенная иностранная сила провоцирует Сталина — уничтожить культурный слой русского народа, лишив его вождей. До известной степени эти мои мысли оправдались расстрелом Тухачевского по наветам штаба Гитлера в период русско-немецкой „дружбы", но потом Сталин до самой его смерти уничтожал выдающихся людей так, как он и делал раньше. Возможно, что в мыслях моих об иностранцах и об их влиянии на Сталина я не был прав. Да, Колька! Мне, как и тебе, наверное, очень жаль людей, погибших по подозрительному капризу азиата, палача-садиста „великого Сосо", но мертвых к жизни не вернуть. А посему нужно смотреть вперед...

— И что же видит впереди мой друг и учитель? — иронически перебил я Костю.

— Сколько раз говорил я тебе брать по чину и не быть большим идиотом, чем тебе это положено по штату! И не вдаваться в сарказм, да еще довольно глупого толка! — Костя раскуривал свою сигару.

— Да, я смотрю вперед, — продолжал он, — но часто оглядываюсь и назад, на прошлую историю России. Впереди я вижу и глубоко верю в будущее мировое значение национальной России и в то, что именно оттуда придет „свет всему миру" и этот свет всему человечеству „перекроет" все ошибки и ужасы революции. Ведь все то, что произошло в России в революционные времена, ведь все это уже было, имело место в истории русского народа. И народ русский не привыкал к грозным ужасам многих лихолетий, как об этом пишут иностранцы и подхалимы русские зарубежного окружения, а он смирялся, уходил в самого себя, давал возможность своим мучителям измываться над ним, зная, что все это пройдет, что Россия воспрянет снова, и русский человек снова заживет своей тихой, равномерной жизнью...

— Это же как так? — удивленно спросил я. — Не понимаю!

— То-то и есть, что не понимаешь. Или проходил когда-то курс русской истории по Иловайскому: „от сих пор до сих пор", получил по этому предмету три с плюсом и на этом успокоился раз и навсегда.

— А ты сам?

— Я, брат мой, на твое удивленье, много читал по русской истории и уже наверное эту штуку знаю лучше, чем ты.

— Докажи!

— Хорошо. Ты вот сказал, что от красного террора погибло много ни в чем неповинных священников, не так ли?

— Да.

— Так тебе должно быть известно, что сам Петр Великий не особенно жаловал представителей церкви, и не одного из них, а многих отправил на тот свет под тем или иным предлогом.

Сам верующий человек, поиздевался он над церковью и над ее служителями не мало. Основал „всешутейший, всепьянейший собор", христославил со своим окруженьем, непристойно одетым, да и крест-то его был сработан в самой непристойной форме, которым он „благословлял" жителей посещаемого им дома. Его выходки такого рода можно объяснить тем, что он ненавидел показную, внешнюю фальшивую обрядность церкви и старался ее свести на нет. Эта благая мера была в глазах верующих ужасным явлением, но православный народ смирялся, а не привыкал. Он знал, что и это пройдет!

Но не только богохульными выходками отличался Великий Петр. Он упразднил патриархат, оставив „блюстителя патриаршего престола", — он знал о роли знаменитого патриарха Никона. Соправителей ему не было нужно. Он учредил Святейший Синод, за действиями которого следил пристальным взором. Когда было нужно, он не церемонился и даже снял колокола с 300 церквей, перелив их на пушки, чьим огнем поставил на колени шведа Карла Двенадцатого, пробив знаменитое „окно в Европу".

И что же? Как всякий на редкость гениальный человек, Петр Алексеевич где-то внутри самого себя оставался глубоко верующим православным человеком, понимавшим, что Русь держалась и будет держаться православием, но православием чистым, духовным, нравственным. Но чтобы глава церкви поддерживал бы главу государства, отнюдь не вмешиваясь в дела государственные. И православие при Петре не захирело. Оно пошло в ногу со временем и дало не мало хорошего России и русскому народу.

И имей в виду, что реформы Петра носили духовный характер, во славу и процветение русского народа и всей России, а не были каким-то почти абстрактным, малопонятным русаку воспитанием в любви к какому-то интернационалу.

Иду дальше о гонениях на церковь. Что делалось во времена царствования Анны Ивановны, племяницы Петра, вдовы герцога Курляндского? Когда она вступила на престол вместе с ее любимцем Бироном и когда этот тип, ненавидевший православние и старавшийся искоренить его на Руси, начал свою деятельность? Ведь только по приказу Тайной канцелярии, возглавляемой Ушаковым, было арестовано и подвергнуто пыткам, а затем умерщвлено 50 тысяч лиц духовного звания! Синоду было предписано отлучать от церкви арестованного служителя церкви „на предмет пыток". Их подымали на дыбу и раскаленным утюгом разглаживали голые спины, добиваясь нужных показаний. Ты сам понимаешь, сколько людей могло вытерпеть такия мучения и остаться в живых после таких истязаний! И это делалось тогда, когда в церквах, на большой эктении, провоз-

глашалось: „За благочестивейшую, благоверную и христолюбивую Императрицу Анну Ивановну“ . . .

— Откуда у тебя такие сведения? — спросил я.

— Вот там на полке лежит книга такого „Поселянина С., издателя книг и журналов духовного содержания, в том числе и „Русского паломника“. Прочти эту книжицу, узнаешь и не такие вещи.

Костя помолчал.

— А что говорил Бирон о церкви? Прочти у В. Соловьева в 13-м томе его истории. Как православие и русское духовенство в живых остались, мне совершенно непонятно. Ведь их, в особенности при Бироне, определенно хотели уничтожить.

А что делалось при матушке Екатерине? Ведь она в угоду своему окружению из левых французов, масонов-атеистов вроде Дидро и Вольтера, хотела взять под государственный контроль и привести к бездеятельности почти 80% русских монастырей и церквей.

— Ну, это ты . . . того, — сказал я.

— Не „того“, — передразнил меня Костя, — а вот тебе! . .

С этими словами он подошел к библиотеке, взял с полки и показал мне книгу, на переплете которой стояло: „Царствование Екатерины Второй“, Н. Бильбасов, профессор Казанского университета.

— Вот тут ты найдешь церковные реформы Екатерины Второй, — с иронией промолвил Костя. — Здесь ты увидишь, что матушка Екатерина сделала с митрополитом Ростовским Арсением Мациевичем.

За то, что он один поднял голос в защиту интересов церкви, она лишила его сана, дала ему кличку „Андрея враля" и заключила его в каменный мешок Ревельского равелина, где он и умер... И это делала „просвещенная" государыня.

Для тебя это будет звучать довольно странно, но знаешь ли ты, кто спас русскую церковь от нападок Екатерины? Правые русские масоны-церковники. А ведь как у нас ругали и ругают масонов! — с грустной улыбкой проговорил Костя.

— Так что советская власть в ее отношении к церкви и духовенству шла проторенной царями и другими русскими правителями тропой к низведению церкви на нет. Как видишь, ничто не ново под луной. Народ же, — он не привыкал к этим нападкам, он смирился, как смирялся и раньше, зная, что невзгода пройдет, забудется, как были забыты злодеяния, имевшие место во времена Анны Иоанновны.

Костя умолк и выжидательно смотрел на меня.

— Ну хорошо, — сказал я. — Так было, как говорят историки и история, при всякого рода коронованных повелителях. И ты хочешь мне сказать, что люди, подготовлявшие революцию, не знали об этих жестокостях прошлого? Не порицали их? Не орали ли они, что нужно сбросить это „кровавое правительство" и заменить его более мягким, человечным правлением? И этим-то великим „гуманистам", сбросившим „кровавый" режим, тоже нужно было зверствовать над беззащитными людьми потому только, что они носили рясу священника или монаха?

Где же их хваленое социалистическое милосердие и справедливость? Великий „социалист" Сталин по-

губил крупного философа, профессора философии и математики и почти отца русской атомной физики, священника отца Павла Флоренского. Загнал его на каторгу в Заполярье почему? Об этом знал только он сам, — Сосо великий. Потом он его вызвал в Москву, заставил читать лекции по атомной энергии и написать десять томов по электрике. Да, конечно, Сталин обращался с ним мягко, он даже исполнил его просьбу и позволил отцу Флоренскому читать лекции в рясе и с наперсным крестом на груди.

А потом этот же Сталин распял отца Флоренского, гордость России, на кресте ссылочной Воркуты. Почему? За что?

— Ты думаешь, Колька, что я оправдываю все эти чудовищные преступления? Это далеко не так. Конечно, верхушка комиссаров с Лениным во главе, как во всякой начатой революции, прекрасно знали историю России и все значение церкви и духовенства для народа и они старались, как и встарь, уничтожить значение влияния религии на дела государственные, как делали это некоторые русские правители до них. Цель эту они оправдывали всякими средствами, от тюрьмы до расстрела, включительно.

Но даже тогда, в начале этой борьбы и гонений на церковь, Ленин уже понял, что веру народа, как и его религию, убить нельзя. Это — одно. Второе — он прекрасно знал, что в деле созидания России православие сыграло большую роль и во многих случаях это же православие спасало Русь и народ русский от верной гибели. Случалось это не один раз.

Первые большевики, невзирая на их эфемерные идеи, были большими реалистами, Колька. Они поняли, что церковь может им еще пригодиться, и на-

чали отпускать повод. С одной стороны, они продолжали гонения на церковь, а с другой, — организовали так называемую „Живую церковь". И при них был снова установлен патриарх на Руси...

— Что? — вскрикнул я.

— Не „что", а так именно и было, — сказал Костя. — Когда был установлен патриархат впервые на Руси?

— Ну при царе Федоре Ивановиче, сыне Ивана Грозного. Федор женатый на сестре Годунова, царством не правил. Роль правителя вел Годунов, а посему честь установления патриархата на Руси, скорее принадлежить Годунову.

— За это — честь и хвала Борису Годунову. Но с патриархатом случилась беда. Патриархи начали не только независимо править церковью, но и оказывать громадное влияние на дела государственные. Правда, вследствие болезни Михаила Федоровича Романова государством фактически правил его отец, патриарх Филарет Романов, и это было понятным, но даже и к этому явлению многие русские государственные люди относились с предубеждением.

А когда появился Никон, талантливый, блестящий реформатор, но очень властолюбивый человек, ставивший себя как „Патриарх и Великий Государь" и заменявший „Тишайшего" во время его боевых походов, то даже глубоко верующий Алексей Михайлович узрел в этом стремлении Никона попытку к двоевластию.

Крут, своенравен, горд и силен был Никон, но даже искренно любившему и почитавшему его царю,

после долгих попыток уладить недоразумения мирным путем, пришлось избавиться от Никона и сослать его в Ферапонтов монастырь.

Значение патриарха сделалось ограниченным лишь церковными делами.

Петр пошел еще дальше. После смерти патриарха Адриана он назначил „блюстителя патриаршего престола" и учредил Синод, находившийся под его контролем. И русская церковь была оставлена без патриарха. Но на русское православие это нововведение не имело никакого влияния. Оно продолжало расти и углубляться и как-то учило русского человека все больше и больше любить свою родину — Россию.

Это обстоятельство было, конечно, хорошо известно советской верхушке. С одной стороны шло преследование церкви и ее служителей, а с другой? На избрание патриарха Поместным Собором в Москве в 1918 году посмотрели сквозь пальцы. Вот, Колька, и получился парадокс: цари отменили патриархат, а восстановлен он был при большевиках.

Да, для вида, возможно, патриарха Тихона арестовали и судили, но не „с пристрастием", а потом оставили в покое.

После смерти патриарха Тихона был только блюститель патриаршего престола. Во вторую великую войну, очевидно, по приказу Сталина в сан патриарха был возведен Алексий (Шиманский), в прошлом лицеист, офицер Самогитского полка променявшего офицерскую форму на рясу и клобук монаха-академика, и соввласть дала ему большие привилегии, наградила его орденами, включая два ордена „Героя Сов. Союза". Ему, да и теперешнему патриарху, власть от-

пускает солидные средства. С патриархом считаються и его уважают.

— Ох, Костя! Твоими бы устами да мед пить!

— Я не виноват, что ты не интересовался такими вещами, почему и настроен так скептически, как и я раньше.

— А теперь ты увидел свет?

— Ну, до света еще далековато, а вот просвет я ясно и точно вижу.

— И где же он, этот просвет? — поинтересовался я.

— А вот где: в России с ее народом, смирявшимся перед ужасными жестокостями на протяжении всей ее истории, власть советов не могла убить, уничтожить православие. Оно всегда было запрятано глубоко в душе русского человека, даже если он и был „заплечных дел мастером" во времена террора Сталина. А благодаря православию была создана и грандиозная российская империя.

И там, в России уже начинается тяга от мертвого, бездушного материализма, временно навязанного Западом русскому человеку, к национальному возрождению . . .

— Да ведь коммунисты мечтают о водворении их учения по всему миру, а ты говоришь, что они даже потакают православию, а с ним вместе и национальному возрождению России! Что-то у тебя в твоей башке творится неладное . . .

— Колька! Русские коммунисты, ведь это не чистые, идейные коммунисты, а так, — середина на

половину... С одной стороны, они — интернационалисты, все время орущие „пролетарии всех стран, соединяйтесь!", а с другой, — это, брат мой, такие патриоты-националисты, каких не было ни при одном русском царе.

Под вывеской мирового коммунизма они начали укреплять и укрепляют Россию, да еще как!

Советчики, Колька, — большие реалисты. Им нужна сильная Россия, а без православия ее не создашь. Это они понимают. Отпустили тормоза. Прекратили травлю религии и церкви. Хотя официально какие-то атеисты еще продолжают орать о „мракобесии", но это так, — для вида. И вот они, разгромившие массу церквей, отправившие на тот свет и в ссылку многих священников, они все же оставили патриарха в покое. Мало этого, у них остались открытыми две или три духовные академии, в Киеве, Москве, Питере, которые, пусть даже в малом количестве, но все же каждый год выпускают молодых священников для окормления верующих.

— Как говорят, — вставил я, — эти священники состоят на службе у государства „шпиками"...

— Дурак ты! У них шпиков и без священников хватает. Нет, это не то. Они на опыте узнали, что православное духовенство им пригодилось в последнюю мировую войну. Сталину для поднятия духа бойцов Красной армии нужно было повыкапывать из могил святых и героев прошлого, начиная от Александра Невского и кончая Суворовым и Кутузовым.

Верующих в армии тогда было еще много, а после начала боевых действий их стало еще больше.

Народ дрался не за заветы Карла Маркса или Ленина и „отца народов" Сталина. Он сражался за Землю Русскую, за ее народ, за ее святых, на Руси просиявших, и за ее героев, грудью защищавших родину от всякого врага и супостата в продолжение тысячи лет.

И победил народ пришельца из западных стран благодаря духу русскому да вере православной, хотя официально правительством не признаваемой и даже гонимой.

Кто знает, чем пахнет будущее? Смотри, какие тучи собираются на Дальном Востоке. Что делает „братский" Китай?

Быть может снова советскому правительству придется прибегнуть к помощи „служителей культа". Вот власть и не напирает так усиленно, как раньше, на верующих. Лозунг „религия — опиум для народа" пока забыт, и заправилы относятся снисходительно к церкви.

Костя помолчал, видимо собираясь с мыслями...

— Для меня ясно и понятно только одно: власть поняла, что православие убить нельзя, и оставило его в относительном покое. Что будет дальше, сказать не трудно: я ясно вижу, что православие, очищенное огнем и муками революции, опять сыграет крупную роль в духовном и даже физическом росте России.

Но моя вера в будущую роль православия — исключительно для меня. Даже тебе я ее не навязываю.

— Константин Аристидович! — съязвил я. — Вы человек, который лба искренне не перекрестил с тех

пор, как оставил Россию, и за всю вашу зарубежную жизнь вас несло от церкви, как дьявола от ладана, и вдруг вы заговорили языком эмигрантского лектора, читающего лекцию о будущей роли православия в деле духовного обновления России. Вы что, на старости лет прозрели духовно, забыли вашу бурную жизнь и увидели свет православия, спасающего Россию, что ли?

Костя смотрел на меня долгим,испытующим взглядом.

— То, что ты сейчас сказал, может быть и верно. Допустим, что я увидел свет на старости лет, но вот ты-то, человек, который всю жизнь читал, чему-то учился, даже что-то написал, ты превратился в старую грамофонную пластинку, к тому же еще и испорченную.

Повторяешь все время какие-то истертые, как медная полушка, общие места, которым когда-то была какая-то, да и то сомнительная цена в базарный день, и почиваешь на лаврах чистоплюя.

В корень, вглубь вещей, ты никогда не смотрел и не смотришь вследствие твоей неискоренимой таганрогской лени...

— Ну, а ты-то? Щупая вселенную за бока, как новоиспеченный „философ" из кафе Зонта в Афинах, что ты нашел в твоих исканиях? К каким потрясающим мир заключениям ты пришел? — Разозленный, я отпил большой глоток виски и с выжидательным видом смотрел на Костю.

Мягко улыбаясь, Костя начал:

— Мы с тобой сейчас говорили о православии и о его будущей роли в деле возрождения России, не так ли?

— Да, — нехотя произнес я, ожидая нового выпада со стороны „философа".

— Мое верование ты разделяешь?

— Признаться по правде, — нет. Как могут руководители коммунистического государства допустить какую-то роль православия, да еще в духовном возрождении России?

— Очень просто, мой друг, очень просто. Ведь в основу чистого марксизма легло христианство. Тебе это должно быть известно.

— Что? — завопил я и подскочил к Косте.

— Не волнуйся, Колька, не волнуйся! Это так... Садись обратно на свое место и слушай, что я буду тебе говорить.

В твоем понятии я — малограмотный человек, который вообще ничего не понимает, а только поражает малограмотных же слушателей своими малограмотными рассуждениями. Это верно, что я начал изучать философию для того, чтобы попозировать перед „шатией" своих друзей и собутыльников в кафе Зонта. Но потом, не отдавая самому себе отчета, я и в самам деле увлекся этой замечательной наукой. Я читал по философии все, что попадало мне под руку, и, конечно, без всякой подготовки, без системы. В голове у меня и получилась каша. Как быть? Ты знаешь, что если я чем-нибудь заинтересовался или увлекся, то интерес мой доведу до конца. А как я довел до конца дело с философией? Это долгая исто-

рия, а ты, я вижу, устал. Иди, поэтому, спать, а завтра я расскажу тебе историю моего увлечения философией, что я нашел в ней и к чему пришел. А сейчас — баюшки-баю...

Мы разошлись по своим спальным. От Костиных излияний в голове у меня действительно стоял сумбур.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КОСТИНА АКАДЕМИЯ

На следующий день, после утреннего кофе, Костя сказал мне, улыбаясь:

— Собирайся! Мы едем в академию.

— Какую академию? Ты что, рехнулся совсем, что ли?

— Пока еще нет. Я просто хочу показать тебе мою собственную академию, в которой я, по примеру моих отдаленных греческих предков, изучал философию, — продолжая улыбаться, говорил Костя.

— А может быть мы сначала все-таки заедем к моему другу, психиатру? — предложил я.

— Это успеется, мой друг, успеется. Я вот только не знаю, кто будет пациентом у твоего друга, ты или я?

— Ну, это мы посмотрим, — сказал я.

— Посмотрим, посмотрим, — добродушно подтвердил Костя.

Машиной мы покатили в Афины. Не останавливаясь, пролетели через весь город, и где-то за Пиреем, на берегу моря, автомобиль остановился у окруженного густым садом маленького очаровательного ресторанчика, веранда которого находилась почти на самом пляже.

Ничего не понимая, я вылез из автомобиля и вслед за Костей поплелся внутрь траторрии. Войдя, я был поражен чистотой и уютом помещения.

Навстречу нам бросился, очевидно, сам хозяин. С поклонами он провел нас на веранду и усадил за большой круглый стол в правом углу.

Вид на море был отсюда восхитительный. Вокруг царила мягкая, успокаивающая тишина, лишь слегка нарушаемая ритмичным шумом лениво набегавших прибрежных волн. Ярко сверкало солнце. Хотелось жить.

Хозяин все время разговаривал с Костей. По тону их разговора мне было ясно, что Костя был здесь своим человеком.

Час был ранний, кроме нас, посетителей не было ни души.

Официант принес и поставил на стол перед нами большой кувшин с ледяным крюшоном без всякой примеси вина.

Костя начал:

— Так вот, как я тебе сказал вчера, от всего прочитанного мною по философию в голове у меня образовалась настоящая каша, и мне стало ясно, что ее, эту кашу, необходимо было „расхлебать", то есть

привести все прочитанное в стройный, логический порядок. Но как это сделать?

Потихоньку от Олимпиады и от тебя, чтобы вы вдвоем не издевались надо мной, я нашел двух глубоких, но еще прытких старичков, в прошлом — молодых профессоров философии еще в России. Оба они были греками русского происхождения и после революции перекочевали в Голубую Элладу, в Афины. Теперь оба они уже были в отставке. Я познакомился с ними и предложил им такую комбинацию: „Вы, мол, отцы, хотите снова заняться преподаванием философии, но, по примеру древних афинских академий, в собеседовательно-лекционном порядке? Хотите? В академии, перед аудиторией студентов? Тогда скажите мне, согласны ли вы на эту культурно-просветительную работу?"

„Какая академия, какие студенты?" — удивлялись старички.

„Аудиторию студентов буду представлять я один. Понятно? А академию найдем". Притащил я их вот сюда, в эту столовку и сказал, что вот здесь и будет наша академия.

Объяснил им, что мой шофер будет по одному в день доставлять их сюда для чтения мне лекций и что мы начнем с азов. Предупредил я их и о том, чтобы не удивлялись моим, может быть, глупым вопросам, ведь образование-то у меня грошовое. Но пусть уже на старости лет, а все-таки у меня есть желание, и очень сильное, получить от них стройное понятие о царице наук-философии и привести в порядок бедлам, царящей у меня в голове от всего мною прочитанного по этому вопросу ранее.

Я сказал им: „Ешьте и пейте здесь все, что захотите и когда захотите. Жалованье будет вам королевское. Но только учите меня, принимая во внимание мой возраст и скудность рывками полученных мною знаний".

Старички переглянулись. Как и подобает настоящим философам, они не удивились моему предложению. Очевидно, они почувствовали искренность моего желания учиться у них, почему с заметной даже радостью ухватились за мою идею. Я подумал тогда, что на них, по причине их преклонного возраста, уже никто не обращал внимания, а тут — на тебе! И „академия", и „аудитория", и жалованье, и заранее благодарный старик-ученик, который жаждет почерпнуть от них тайны философии!..

И, как старые кавалерийские лошади, раскованные, жившие уже на подножном корму и вдруг услышавшие сигнал трубача, они воспрянули духом. Уже потухавшие их глаза засверкали, они горячо жали мне руку и согласились поделиться своими знаниями со мной, отщепенцем, пьяницей, картежником и бабником в прошлом, который в конце своей забубенной жизни захотел сделаться человеком, имеющим понятие о жизни, о целях бытия, об отношении человека ко всей вселенной, и вселенной к нему, человеку.

— Господи! Костя! Какие страшные слова ты произносишь!.. — не удержался я, чтобы не уколоть Костю.

— Погоди остроумничать, Колька. Ничего тут страшного или странного нет и не было.

В общем я поступил, как один американский миллиардер, который в молодости был таким же теле-

графистом, какими были мы с тобою тоже. К концу же своей жизни он пополнял свое скудное, как и наше, образование тем, что приглашал на свою роскошную яхту и на долгий рейс целую плеяду знаменитых профессоров и один слушал их лекции. Но мне было далеко до Андрея Карнеги... Вместо яхты я довольствовался вот этим скромным ресторанчиком, моей „академией".

Примерно за один год старички здорово „натаскали" меня по философии. От них я научился многому. Главным же образом я привык размышлять над разного рода вопросами. Они же и привели в стройный порядок бедлам, царивший в моей голове от беспорядочно прочитанного мною материала по философии.

— Воображаю, что они с тобой сделали, — не удержался я опять.

— Со мною они ничего не сделали, а для меня сделали много. На вот этой самой уютной веранде маленького кабачка с божественным видом на Эгейское море, которое знали и видели Сократ и Платон, Аристотель и Перикл с его Аспазией, старички научили меня, и довольно быстро, основам логики, психологии и самой философии.

Работать с ними было огромным удовольствием. Ведь я один изображал аудиторию студентов. Это давало мне возможность задавать вопросы и получать на них ответы. Они разъясняли мне, даже по несколько раз, непонятные мне вещи. А это, брат ты мой, не университет, где профессор не имеет возможности ответить хотя бы на один вопрос каждого студента, а тут — пожалуйста!

Костя умолк на минуту, казалось что-то соображая, и потом продолжал:

— Ну, вот ты ведь тоже когда-то посещал философские курсы, а что ты можешь мне сказать о Гераклите?

„Костя всегда оставался Костей с его греческим желанием попозировать, пощеголять своими знаниями", — подумал я и внутренне улыбнулся.

— Философские курсы, Костя, я посещал потому, что это был один из обязательных предметов, но особого расположения к этой науке я не имел. Прослушал курс, на экзамене получил „джентльменскую" отметку — три с минусом, а затем — „отзвонил и с колокольни долой". Но о Гераклите что-то помню. Кажется, был такой философ в древней Греции, учил о каких-то панта реях и о том, что все куда-то течет, все меняется. Нельзя дважды вступить в тот же самый проток, и еще что-то в этом духе.

— „Панта реи", „все течет" — передразнил меня Костя. — И это все, что ты знаешь о Гераклите?

— С меня довольно и того, что я знаю, Костя. Я ведь не философ и в науке этой смыслю мало. Ну, а ты, таганрогский Аристотель, что ты можешь мне сказать о Гераклите? И вообще, — почему ты выдрал именно Гераклита? Ну, я слушаю...

— О Гераклите речь будет потом, а пока... — Костя опять помолчал, а потом, глядя куда-то вдаль, на голубую дымку горизонта Эгейского моря, продолжал:

— Ты, конечно, этому не поверишь, но под влиянием бесед с моими старичками-профессорами я на-

чал перерождаться. Я, в прошлом — пьяница, бабник, пират, авантюрист, все, что хочешь, я начал жить и думать по-другому. Я начал сознавать себя гражданином и членом общества мне подобных людей и то, что, живя среди людей, я должен что-то делать для этих людей в обмен за то, что они дали...

— Ты хочешь сказать: в обмен за то, что ты взял от подобных тебе людей, — я не удержался, чтобы опять не кольнуть Костю.

— Хотя бы так. И лучше понять и исправить ошибки прошлого, начать жить полноценным человеком, чем умирать пресыщенным, богатым животным, дрожащим за содержание своего золотого мешка... Но ты не перебивай меня, слушай дальше.

Когда перед моим духовным взором промелькнула тень великого Сократа с его „Я знаю то, что я ничего не знаю" и „Познай самого себя", с его верой в Единую Силу, правящую всем миром, и со сценой его казни, когда даже палач, давший ему чашу с ядом, расплакался, то только тогда впервые в моей жизни я понял пустоту своего существования и начал „познавать самого себя".

(Здесь я иронически улыбнулся, но Костя, не обратив внимания на мою улыбку, продолжал):

— Когда мои учителя обрисовали мне Платона, красавца-атлета, афинского аристократа, ученика Сократа, который забыл своего учителя перед концом его жизни, но оставил потомкам свое знаменитое учение об „Идеях", о „Государстве", которое получило одобрение даже у Карла Маркса, тогда мне стало стыдно за хвастовство моими „знаниями", в кавыч-

ках, философии перед моими собутыльниками в афинском кафе Зонта.

Вереницей прошли передо мной великие образы ушедшего мира, от знаменитого циника Диогена, жившего в бочке, и до Пифагора с его школой, давшей миру сокровища познаний по математике, по астрономии и даже по музыке, с которыми серьезно считаются ученые и по сей день. Растолковали мне мои профессора и много ошибок и исторических поклепов на некоторых философов, каким был, например, Эпикур.

— Костя! Повторяю, что мне даже страшно делается за высокий „штиль" твоих излияний. Таким я тебя, таганрогского „фараона", никогда не знал, не слышал. Всю свою жизнь, ты, не умолкая, говорил о чем угодно, но только не об этих вещах. А тут и Сократ, и Платон, и Пифагор, и вот теперь и Эпикура приплел. По-моему, ты был прав, когда сказал, что это меня нужно везти к психиатру, а не тебя... Но я страшно заинтересован твоей речью, даже поражен ею, а посему — валяй! Об Эпикуре. Что ты хочешь сказать о нем?

— Да вот то, что „философы" вроде меня, нахватавшиеся верхушек знания, считали Эпикура проповедником сладострастия, поклонником чувственных наслаждений.

— А не деле? — спросил я. Во что верил Эпикур?

— На деле? Да его знаменитая фраза о том, что высшее наслаждение в жизни должно быть острым, длительным и не причиняющим вреда здоровью, это, брат мой, — духовная жизнь, в которую он верил,

которой он жил, а не плотские наслаждения, разрушающие здоровье, превращающие человека в животное и, кроме вреда, ничего не приносящие. Своей разумной теорией материализма Эпикур немало сделал для человечества, хотя это его учение тоже было довольно искажено. Я был рад узнать правду об этом философе и, возможно, под влиянием этого открытия и начал жить более или менее осмысленной духовной жизнью, — сказал Костя и, как мне показалось, робко посмотрел на меня.

— Старики беседовали со мной не только на философские темы, — продолжал Костя после небольшой паузы. — Они мне дали не мало познаний и по истории, в особенности древнегреческой. И перед моими глазами прошла плеяда великих мужей Эллады. Из греческой истории мне больше всего понравился расцвет демократии и культуры в период Перикла и его подруги Аспазии. То было время!..

— Плохо же учили тебя твои профессора, раз они тебе ничего не сказали о том, что пресловутая демократия Великой Греции была обязана своим существованием только рабству. Рабов было куда больше, чем свободных граждан. Рабов содержали в ужасных условиях, их заставляли работать до потери сознания, скудно кормили. Средняя жизнь раба продолжалась 23 года, но недостатка в рабах не было. В таких условиях можно разводить какие угодно демократии и жить припеваючи за счет подневольного каторжного труда, создавая какие угодно цивилизации.

— Класс рабов, Колька, был общепризнанным фактором в древней Греции. На существование этого разряда людей не только закрывали глаза почти все философы Эллады, но даже считали раба необходи-

мой принадлежностью государства. Платон был сторонником рабства, а Аристотель пошел еще дальше. Человек, которого весь мир считает даже сегодня отцом логики, автор знаменитых „Диалогов", трудов по физике и метафизике, легших в основание наук всего мира, он проповедывал о том, что физический труд есть удел рабов, а труд умственный — это привиллегия свободного класса, что между прочим наблюдается и по сей день, но только с небольшой разницей: „рабский" труд водопроводчика, шахтера или электрика расценивается куда выше, чем труд рядового профессора. По крайней мере это происходит в Америке и, как и все американское, быстро распространяется по всему миру. Рабство!.. — Костя остановился, помолчал и вдруг обратился ко мне:

— А какие цивилизации и демократии были созданы без подневольного труда? Тебе это известно? Так вот: Вавилон, Египет, Иудея, Греция, Рим, Европа до средневековья, Русь древняя, да и новая, все были обязаны рабскому труду.

От Вавилонской башни, висячих садов Семирамиды, пирамид Египта и до блистательного Санкт-Петербурга и Беломорского канала, все было построено рабским, подневольным трудом.

Так что корить Перикла рабским трудом не следует. Рабство считалось с древности явлением нормальным и вполне возможно, что благодаря рабству расцвели науки, были созданы демократии, о которых говорит по сей день весь мир. Философы тех времен шли в ногу с их эпохой, и отсюда их взгляд на раль рабства и рабского труда.

— Видишь ли, Костя, я уже сказал тебе, что по философии получил три с минусом. Почему? Да

просто. Проходил навязанный мне курс без всякого к нему интереса. А отсутствие интереса к философии объясняется влиянием на меня разговора с дядей Мишей еще в детстве. Дядя Миша считал, что большинство философов были людьми, жившими в „башнях из слоновой кости". Влюбленные в свои знания, открытия, культуру и эрудицию, они только и занимались тем, что поражали ими своих соперников, других философов.

С народом, простым народом, они ничего общего не имели и не могли иметь по причине отсутствия общего языка с простым людом.

Но народом они, в прямом и переносном смысле слова, помыкали, а своими теориями, прилагавшимися на практике, они приносили страдания и неисчислимый вред.

— Приведи пример, — сказал Костя.

— Далеко ходить не нужно. Возьми немцев, воспитанных на философии Ницше. Что они сделали с русским народом в эту войну? Ужас берет.

А во что обошлись русскому народу теории другого философа, — Ленина, выросшего под влиянием немецких философов вроде Энгельса и Карла Маркса? Подумать страшно.

В море я тоже иногда почитывал труды философов, Костя. И из них всех на меня произвели сильное впечатление только несколько человек.

— Кто же это? — с интересом спросил Костя.

— Сократ, Диоген и его последователь, наш украинец — Иван Григорьевич Сковорода, который с Диогеном вместе поняв цену так называемому прогрессу,

проповедовали самую упрощенную жизнь человека на земле и от земли, чего теперь ищет даже пресытившийся и развращенный разными благами жизни класс богачей.

Да вот еще я считаюсь с русским философом Н. Ф. Федоровым, малоизвестным даже в России. Если не увлекаться верой Федорова в физическое воскрешение всех мертвых, как у глубоко православного русского человека, то перед его учением, глубочайшим, но таким доступным пониманию даже простых людей, критикам всех философов мира нужно только преклоняться перед Федоровым. И, наконец, я верю, конечно, и признаю философию Христа, плотника из Назарета. Все же остальные философы с их истинами интересуют меня очень мало. Возможно, что их влияния на судьбы человечества я не дооцениваю.

Вот ты что-то сказал о Гераклите, о котором я знаю очень мало. Почему ты начал разговор о нем? Мне кажется, что это непроста... Говори, я слушаю.

Костя посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом и потом начал:

— Гераклит был родом из Эфеса, в Малой Азии, и аристократом по происхождению. Он написал много трудов, очень трудных для понимания даже ученых философов.

Он верил в первоисточник всей природы — огонь. От огня произошло все и вся. И он же установил силу, управляющую всем миром, и дал ей имя „Логос". А это для меня, Колька, ничто иное как вера в Высшую Силу, которую называют Богом.

По Гераклиту Логос управляет всем миром. В глазах Логоса добро и зло — одно и то же. Но в мире царит больше зла, чем добра. Уйти от зла невозможно. Чрезмерное накопление зла уничтожается Логосом войнами, революциями и другими бедствиями, посылаемыми Логосом человечеству.

В такие времена Логос не щадит никого. Наказывает и правых и виноватых.

В понятии Гераклита такое отношение Логоса к людям было несправедливым. Он за это упрекает Логоса, играющего судьбами человечества, как бессмысленный мальчишка, вечно пересыпающий песок на берегу моря.

Историки философии и богословия писали и говорили, что Гераклит был христианином до Христа, так как его учение о Логосе было воспринято не только иудеями, но и евангелистами Иоанном и Лукой.

Его учение о панта-реях, о том, что все течет, все меняется, что нельзя дважды вступить в один тот же самый проток, вызывает интерес и по сей день.

Учением Гераклита увлекались и поздние философы как, например, Фредерик Лассаль, немец, написавший о нем два тома, и Карл Маркс, и наш знаменитый основоположник русского коммунизма Ленин, который неоднократно говорил о работах Гераклита, правда, выбирая нужные ему места.

— Откуда ты выкапал такие сведения? — спросил я Костю, пораженный приводимыми им именами.

— Старики-профессора виноваты, они мне рассказывали. Я здесь не причем, — лукаво-виновато ска-

зал Костя. — Следственно, если основоположники социализма, марксизма и ленинизма считались с учением Гераклита, христианином до Христа, то тогда и в их теории есть доза христианства...

— Христианства довольно искаженного, — заметил я.

— Пусть даже искаженного, но все же христианства. Если ты возьмешь первычную стадию работ Маркса...

— Не брал, не беру и не хочу брать ни одной стадии работ этого типа, — поспешил заверить я.

— Твое дело — брать или ни брать. Но я должен тебе заметить тогда, что у первоначального Маркса, в его первых теориях, элемент христианства присутствовал в его желании уравнять все и вся и сделать жизнь счастливой для всех народов, живущих на этой планете. И поверь мне, Колька, что есть все-таки что-то общее, пусть в малой степени, но есть, между двумя этими философиями.

„Колька" мрачно молчал, а затем произнес:

— Ты хочешь мне сказать, что теория Маркса обладала какой-то долей христианства?

И если это так, то для проведения этой теории в жизнь только в одной России были уничтожены десятки миллионов человеческих жизней, погибших в подвалах Чека, в вечно-мерзлой тундре Сибири, на постройке каналов, на проводке железной дороги на Воркуту, куда даже суровый царь Николай Первый отказывался посылать своих политических преступников... А в Китае, как пишут отцы иезуиты, насаждение советского рая стоило 34 миллиона ки-

тайских жизней. И ты усматриваешь в марксизме присутствие какой-то доли христианства?

Костя молчал, сосредоточенно о чем-то думая, а потом произнес:

— Всякое новое верование, религиозное или политическое, насаждалось и продолжает насаждаться не в очень мягкой форме. Почему это так? Просто: когда образовывалась, под влиянием нового пророка или вождя, группа верующих последователей, глубоко воспринявших новую веру, так сказать, то они становились фанатиками такой идеи или убеждений. Жили сурово, аскетически, не боясь гонений, пыток, казней. За свои верования они шли, не задумываясь, на смертную казнь в самых ужасных ее формах. Они верили, что смертью своей они несут искупление всему миру. Такими были первые христиане. Тебе это известно.

Когда такого рода вера или философия захватывала умы людей, а затем и власть над ними, светскую или церковную, то для сохранения такой власти от нападок на нее и ее уничтожение, она защищалась теми же суровыми мерами, какими она преследовалась до ее воцарения в стране.

Нужно сказать, что этот процесс происходил не сразу.

Ведь первые пророки и вожди всякой новой философии на первых порах, в особенности церковной веры, жили скромно, как и раньше, до воцарения их идей, и если защищали свои верования от нападок, то без особых жестокостей.

Но вот, когда такая философия крепла, становилась официальной, то дело менялось коренным обра-

зам. На смену первым фанатикам-аскетам приходили уже профессионалы, если хочешь, нового порядка, новой религии. И они уже не жили по-спартански, как их предшественники, а обладая уже и огромной властью, и громадными средствами, начинали вести роскошный, доходивший до разврата образ жизни. Такими были калифы третьего поколения Магомета, предки которых жили в землянках, а они обитали в роскошных дворцах с тысячами красавиц в своих гаремах и горе было тому, кто восставал против такого образа жизни представителей Аллаха и его пророка Магомета на земле. Их уничтожали во славу Ислама самым зверским способом. В первые годы христианства, когда религия Спасителя только начинала становиться организованной, она более или менее мягко обращалась со своими противниками, отступниками или еретиками. Но когда религия Христа сделалась организованной, могучей, когда появился пышный блеск Рима и Византии, когда папы Рима и патриархи Царьграда с сонмом служителей, венчавшие королей на царство и развенчивавшие их, жили в сказочной роскоши, то они не стеснялись в средствах для защиты церкви от нападок на религию, а вместе с этим на свою власть церковную.

Малейшее уклонение от порядка, от догматов, предписанных церковью, принималось за ересь, могущую подорвать не только церковную, но и мирскую власть, и для защиты веры и церкви была организована Святая Инквизиция.

Сколько было замучено и умерщвлено зачастую невинных людей такими „святителями", каким был католик Торквемада в Испании и Южной Европе, учесть нельзя.

Даже в Голландии, занятой испанцами, герцогом Альба было отправлено на тот свет жесточайшими пытками и казнями 250 тысяч человек, мужчин, женщин и детей, только потому, что они не были католиками.

И не страха ради, а просто внимая увещаниям отцов церкви, большинство народа верило в необходимость инквизиции, пытками и казнями спасающей от геенны огненной людей, попавших в руки палачей инквизиции. Старые и малые верили в то, что инквизиция — дело необходимое, богоугодное. Ты следишь за моей мыслью, Колька?

— Слежу, слежу, не волнуйся, — успокоил я Костю.

— На костры инквизиции взрослые люди несли большие вязанки хвороста, а малые дети — маленькие, думая, что этим они делают христианское дело.

Когда римская церковь почувствовала себя сильной и неуязвимой, тогда она отменила инквизицию. Начала „спускаться на тормозах", так сказать. Но страх перед инквизицией среди верующих католиков, в Южной Европе, по крайней мере, не пропал и по сей день. Многие из католиков даже защищают инквизицию, считая ее закономерной, необходимой силой, сохранившей их веру во Христа.

Греко-российская церковь тоже милосердием не отличалась. Еретиков пытали, казнили и сжигали, но, правда, в меньшей мере, чем на Западе.

Да! Всякая насильно проводимая в жизнь новая идея, даже если она была направлена на казавшееся главарям идеи добро для народа, почти всегда была зверски-жестокой.

Возьми Иоанна Кальвина. Он, как и белая армия, восставшая против первых большевиков, восстал против сурового, кровавого католицизма и создал новую религию. А что он делал в ее защиту?

— Не знаю, право! — сознался я.

— В Женеве он казнил казавшихся ему противниками его религии по 60 человек в день. А Иоанн Лейденский?

— А это что еще за тип? — полюбопытствовал я.

— Он начал проповедовать свою религию, какого-то анабаптизма, нового крещения или перекрещения, тоже направленную против католицизма. А что он вытворял над народом? Он так жестоко злодействовал в Германии, столько пролил крови, что немецкие князья, объединившись, восстали и положили конец его деятельности. Он тоже поклонялся Христу, тоже верил в его учение.

Первые большевики, марксисты, Колька, проповедуя и проводя в жизнь свою доктрину, в основе которой, хочешь или не хочешь, легло, в какой-то части, пусть даже искаженное, но все-таки учение Христа о помощи обездоленному, затравленному ближнему, о любви к нему, о сострадании, они отрицали Христа, отрицали веру в Бога и в религию. Все, что ты хочешь, они отрицали. Но отрицали они, сами себе не отдавая отчета, „казенного" Христа, преподносимого не менее „казенной" церковью. Ее священниками-чиновниками, состоявшими на службе и шедшими на поводу у правительства.

Не в одной только России существовала такая „казенная" церковь. Она была распространена по всем

религиям мира. Религии были превращены в средство для привольного житья иерархов и их чиновников, сделавших из церкви какую-то казенную палату.

Такое положение вещей привело многие христианские религии, в том числе и православие, к банкротству.

Кроме мертвой догмы, непонятной простому народу, всяких туманных доктрин и общих мест, — живой воды, питавшей верующих, страждущих и обремененных, казенная церковь давала очень мало.

„От сих и до сих" — и ты будешь спасен, — это было все, что давали пастыри своим пасомым.

Костя умолк. Я с недоумением смотрел на него, ничего уже вообще не понимая. Костя, — и вдруг такой разговор!

— В первую мировую войну, — продолжал Костя после довольно продолжительной паузы, — и солдатам и населению каждой воевавшей страны было вбито в голову, что „с нами Бог". И во имя этого казенного Бога погибло много миллионов людей. А кто заработал на этих несчастиях, об этом я тебе уже говорил.

Но несмотря на такое положение вещей, светлый образ Христа жил в душе каждого народа, каждого человека, возможно даже и потерявшего веру, но рожденного христианином.

Люди верили в то, что только в Нем можно было найти правду, облегчение и успокоение от всяких несправедливостей жизни человеческой. И это было учтено христиански настроенными социалистами вро-

де знаменитого женевского профессора Рагаза. Тебе это имя говорит что-нибудь?

— Нет, ничего, — сознался я.

— Социалист, но не марксист-коммунист, Рагаза проповедовал объединение всего разбитого на различные верования христианства в одно целое. Тогда осуществление социализма во всем мире было бы обеспечено.

— Задача совсем легкая, — иронически вставил я.

— И только тогда на земле может наступить счастливая жизнь, обещанная Писанием, — продолжал Костя, не обратив внимания на мою иронию. — В понятии Рагазы современное христианство, раздробленное на несколько враждующих между собой религий, не может быть ни целесообразным, ни божественным или благодатным.

Так же как и доктрины различных отцов различных церквей имели мало общего с заветами Искупителя. Были они по-своему разными и правдивостью не отличались. В общем, только у Христа была правда. На деле же правды не было, и церковь с ее влиянием на массы верующих медленно, но верно шла к банкротству, духовному банкротству. Поэтому, по мнению Рагазы, разжиревшая, изнеможенная, избалованная, мало обращавшая внимания на своих пасомых церковь должна была быть очищена, огнем, если это будет нужно, она должна умереть, для того чтобы Христос, истинный Христос, воскрес бы снова и жил с нами.

— Костя! Я не верю своим ушам. Это ты так говоришь о Христе? Ты!

— Не мешай! Да, говорю это я. Дай мне закончить.

— Продолжай, — сказал я.

— Для Рагазы вера пролетариата в его борьбе за новый строй, за новую жизнь людей на всей земле была воплощением его веры в царство Божие на земле, обещанное пророками Израиля, Христом и его апостолами.

Борьба обездоленных и угнетенных за право жить и работать была продолжением борьбы Христова учения и учеников Христа за лучшую жизнь человечества. И чем выше ставили обездоленные свои цели, чем больше они жертвовали своими жизнями за свои верования, тем больше их идеалы совпадали с учением Христа, — так веровал Рагаза.

Я должен тоже отметить, что в суждениях своих Рагаза не стеснялся. Он воздавал кесарево — кесарю, а Божие — Богови. То, что было сделано большевиками хорошего в первые годы их власти, он хвалил, а плохое резко порицал. Когда Ленин отменил смертную казнь, он приветствовал эту меру, а когда после убийства Урицкого тот же Ленин начал кровавый террор и гонения по всей России, он одним из первых вынес порицание этой жестокой мере.

С такими взглядами Рагаза не мог быть „популярным" ни у католиков, ни у капиталистов, ни у коммунистов и у возглавителей других церквей. Он был затравлен и надзором и слежкой и в конце концов умер. Но учение его не заглохло. Через несколько декад после его смерти молодое духовенство Франции и сугубо католической Испании само „пошло в народ".

Священники пошли работать рабочими на фабриках, помогая народу, и даже вступали в оппозицию правительству, борясь за нужды народные. Это движение расширяется теперь по всей Западной Европе.

В России вера и православие в глубине души народа никогда не умирали. Даже загнанные в подвалы Чека, в тюрьмы, в вечно мерзлые тундры Заполярья, совсем убиты они никогда не были. Наоборот, православие разгоралось еще сильнее и светилось мягким, ласковым светом, как свеча перед древней иконой где-нибудь на погосте, чуть не потушенная сильным порывом налетевшего шквала.

И теперь тихий, умилительный свет православия снова начинает, как ласковый маяк, светить мореходам, потерявшим свой путь в штормовую, ненастную ночь, среди грозных подводных рифов, беспощадных течений и серо-густого тумана нашего лихолетия.

Россия возрождается духовно. И недалек тот день, когда она выйдет на свою русскую дорогу, займет в семье народов ей уготованное место, и все это произойдет благодаря православию. Благодаря вновь обретенному Христу...

— Костя! Ты вот мне сказал, что твои профессора учили тебя логике...

— Да, учили, — подтвердил Костя.

— Плохо же они тебя учили. Ты ведь несешь какую-то чепуху: В России царит власть атеистов-марксистов, власть, которая боролась и борется с религией и по сие время, устраивая всякие затруднения для верующих. И, как говорят, продолжает закрывать церкви. А ты говоришь, что Россия возродится благодаря православию?

Да если бы там наступил такой прилив веры народной, так ты думаешь, что представители власти там ослепли, что ли? Не боятся слететь со своих мест и, в лучшем случае, оказаться в эмиграции, за рубежом, или же очутиться в концлагере? Никакой логики в твоих рассуждениях я не вижу.

— Господи! Опять надо все разжевывать и класть в твой детский ротик. Ну хорошо, так и быть — поясню, в чем тут дело.

Вот тут-то Гераклит как раз и пригодится в нашем разговоре. Этот греческий мудрец вещал, что нельзя дважды вступить в тот же самый проток, и он был совершенно прав: и вступающий изменился, да и проток стал уже не таким, каким был раньше. Он расширился, стал глубоким, а на глубине его образовались сильные подводные течения, даже водовороты, как во многих местах на Дону. На поверхности же — тишь, гладь да Божья благодать. Но вот попасть в такой проток даже опытному пловцу или ныряльщику особенно не рекомендуется. Потянет его на дно, протащит низом до самых донских гирл, где и найдут его труп на отлогих берегах Танаиса. А он, тихий и величавый, будет по-прежнему „катить воды своя" к морю, к свободе, навстречу семье всех народов.

Пойми же ты, мое прелестное дитя, что верховоды и заправилы России не фантазеры, а глубокие реалисты. Они-то понимают, в чем дело, и сознают, что без народа, единого в своих убеждениях, в своей вере, без общей любви к родине, им далеко не уйти. Могут спотыкнуться, да еще как спотыкнуться, вожди народные, и все полетит к дьяволу. И вот заправилы потихоньку начинают „хождение в народ", к духовенству.

На вид кажется, что они продолжают относиться к религии, как раньше, но это только кажется, а на деле у них патриарх, с которым они считаются и очень даже считаются, работают, как я уже говорил, три духовные академии, в Петербурге, Москве, Киеве, которые выпускают и священников, и богословов, и философов. Учат по старинке. К выпускному экзамену в эти центры съезжается много серьезных девушек, желающих выйти замуж за вполне образованного человека.

Ты вот сказал, что священники состоят на службе у правительства „шпиками"? По-моему тут дело обстоит иначе. Глубже. Всякого рода „политрукам" уговаривать народ где-нибудь в заплеванном колхозном клубе уже не под силу. Народу надоело слушать полуграмотные речи, сдобренные подозрительными статистическими данными, и лозунги вроде „догоним и перегоним". Надоело созерцать засиженные мухами физиономии вождей, куря скверный табак. Такие „ораторы" никакого впечатления не оставляют. Другое дело, — когда „батя" в церкви с амвона произнесет грамотным языком проповедь, где скажет что-нибудь о значении веры, о прошлом русского народа и о том, что „всякая власть — от Бога и ей нужно подчиняться". Что нужно любить родину, работать ей на пользу, во славу народную, и не забывать, что мы прежде всего русские. Такого рода подход к народу — „другой табак", и такой сдвиг, в малой еще мере, но уже начинается в России.

— Ты-то откуда знаешь такие подробности! Ты был в России, что ли? — поинтересовался я.

— Нет, не был. Но приезжают оттуда и туристы, и дельцы, и моряки, — вот они и рассказывают о своих наблюдениях и впечатлениях.

Да и в советской прессе, ежели пристально смотреть, всегда можно найти что-нибудь, что приподнимают „железную завесу".

Костя помолчал и затем, чему-то улыбнувшись, продолжал:

— Вспомни еще и о детях старых русских эмигрантов, родившихся в Греции и уехавших в Россию с вернувшимися туда их родителями. Свободно владеющие двумя языками, они, как и все гимназисты и студенты, говорят еще на своем собственном жаргоне греческого молодняка, которого сам черт не поймет. На этом жаргоне они и пишут оттуда письма своим друзьям, оставшимся в Греции. Советские цензоры, владеющие греческим языком, не понимают все же значения многих выражений и обычно пропускают эти письма. А полученные здесь эти послания дают очень полную картину тамошней жизни, конечно, без всяких военных или политических секретов.' Из этой переписки на эзоповом языке мне стало ясно и понятно, что верхушка правительства прекрасно понимает, что веру и религию убить нельзя. Но и гонения открытого порядка устраивать тоже не годится, так как это создаст скрытогоо врага. Так они и порешили дать верующим некоторые послабления, оставить церковь в покое и даже поддерживать ее, когда это нужно.

Ты знаешь, что происходит на Дальнем Востоке? Вот уж подлинно „горит восток зарею новой"!

Один Китай не так уж страшен. Страшен весь объединенный желтый мир, Колька.

А он должен объединиться. С его громадным населением и пространством, с его природными богат-

ствами, упорным трудолюбием и японской технологией, — эта штука может представлять грозную силу. И ее удар будет направлен на Россию. Вести такого рода войну на востоке, имея за собой в тылу Западную Европу, чье население не „сходит с ума" от любви к Москве и ее теориям, дело, брат ты мой, нешуточное.

Кроме того, ты должен принять во внимание еще одну вещь, — сказал Костя и опять умолк.

— Какую? — спросил я.

— Да ту, что мир не так уж боится ни громадной страны, какой является Россия, ни могучей русской армии и ее уменья драться...

— Чего же, по-твоему, он боится?

— Боится он гения русского народа, Колька. Гения русского человека, мой „юный и неопытный друг", — проговорил Костя. — Пусть издеваются клеветники России и русского народа, пусть насмехаются над великой страной, но народа, могучего, талантливого, страшного во гневе и великодушного в своей доброте, терпеливо сносившего все невзгоды, а потом сокрушившего всех своих врагов и насильников, татар, поляков, шведов, французов, и вот еще недавно разбившего грозные орды Гитлера, уничтожить даже всему объединенному миру невозможно. Ты понимаешь, Колька, невозможно! — убежденно выговорил Костя.

Голос его звучал по-молодому взволнованно, глаза горели отсветом юности. Он был, как казалось мне, искренно и глубоко убежден в том, что говорил, в том, во что верил.

— И еще, если во главе русского народа будет стоять русский же человек, а не какой-нибудь кавказский кинто, семинарист-недоучка и садист, то тогда Россия еще скорей выйдет на свою дорогу мирового значения, дорогу страны, несущей свет всему миру.

Но если начнется такая борьба, желтые — с одной стороны, и белые — с другой, то для борьбы нужна будет армия не каких-то пролетариев, „Иванов", не помнящих своего славного прошлого русского, с лозунгом „пролетарии всех стран, объединяйтесь", а сильная национальным духом армия, объединенная любовью к стране, к народу, к заветам отцов, готовая пойти на все. Не только защищать Землю Русскую от врага, но и сознавать свою цель — дать свет всему миру с Востока!

Пытаться создать такую армию, такую силу, партийными лозунгами напрасно. Тут нужно высокое духовное начало, пропитанное любовью к родине, и в этом случае церкви придется опять сыграть крупную роль. Только она может решить эту задачу, и отсюда — такое в данный момент отношение „сквозь пальцы" советской власти к церкви... Да, старая русская церковь прошла через очистительный огонь революции, и это было опять таки закономерным ходом русской истории. Русская церковь в большой степени очистилась от многих отрицательных сторон своего прошлого...

— Каких отрицательных сторон? — удивился я.

Не отвечая на мой вопрос, Костя продолжал:

— Не мало было положительных сторон в старой русской церкви, помогавших ей в создании государ-

ства Российского и духовного влияния ее на массы народные.

Сергий Радонежский уверенно благословил Димитрия Донского на битву с татарами. Митрополит Филипп Московский, не убоявшийся обличать самого Иоанна Грозного за жестокости его опричников и погибший от руки палача, Малюты Скуратова.

Патриарх Гермоген, человек суровый, но великий русский патриот, голодом замученный поляками за его любовь к родине. Да много еще других святых, в земле русской просиявших, чей перечень был бы очень длинен. Не нужно забывать и роли монастырей тоже. Ведь это были и школы, и госпитали, и дома призрения для стариков и инвалидов, и банки, и житницы для кормления народа в голодные годы. Крепостями своими монастыри тоже оказали немалую услугу в стройке государства Российского. Одна только Троице-Сергиева лавра с успехом выдержала осаду ее поляками и никогда не была захвачена врагом. Монастыри дали и таких бойцов за Русь, какими были Пересвет и Ослябя, и келарь Авраам Палицын, и много еще других подвижников, сделавших так много добра России, чьи имена широким кругам русаков до сих пор очень мало известны.

Это я говорил тебе о черном духовенстве. А так называемое „белое" духовенство тоже сыграло огромную роль в деле, пусть скромного, просвещения русского народа. И героев среди них тоже было не мало. Я не буду утомлять тебя их перечислением, но расскажу тебе об одном из них:

Ты помнишь, в наших домах, в детстве, всюду висела лубочная картинка, — эпизод из русско-япон-

ской войны, изображавшая священника, ведущего солдат в бой?

— Да, да, я припоминаю что-то такое, — подтвердил я.

— Я тоже что-то „припоминал" вроде тебя, но вот уже в эмиграции я узнал полную историю этого эпизода.

Дело было так: в японскую войну 1904-05 гг., в бою под Тюренченом, один из сибирских стрелковых полков был окружен японцами и понес большие потери. Все офицеры были или перебиты или тяжело ранены, и полку грозило полное уничтожение. И вот тут-то полковой священник, отец Стефан Щербаковский, взяв в руки крест, повел остатки полка в штыковую атаку, чтобы пробиться из окружения. Раненный несколько раз, он продолжал идти впереди солдат с крестом в руках. И только тогда, когда он был ранен в ноги и не мог больше идти, двое солдат, евреи, — между прочим, взяв в руки винтовку, посадили на нее отца Стефана, вроде как на носилки, и несли его дальше. Обняв одного из солдат-носильщиков одной рукой и держа крест в другой, священник продолжал вести солдат, и полк под его водительством прорвал японское кольцо и вышел из окружения, избежав гибели или плена.

За подвиг этот отец Стефан Щербаковский был награжден наперсным крестом на Георгиевской ленте и орденом св. Георгия 4-й степени.

По окончании японской войны он был назначен полковым священником Кавалергардского полка, с которым и выступил на фронт в 1914 году. В нем он провел всю войну, до революции, отличаясь боль-

шой скромностью и необыкновенной храбростью. Он разгуливал по окопам под сильным огнем, не „кланялся" пулям и под таким же огнем исповедывал раненых, напутствовал и причащал умирающих солдат.

Отец Щербаковский не кончал духовной академии, он был рядовым русским священником, одним из тех, кто насаждал православие от Балтики до Тихого океана, от Белого моря до афганской границы необъятной России. Православие, так отличающееся от других религий мира, которое не раз спасало Россию, укрепляя дух русского народа, православие, которому еще придется играть в будущем большую роль в деле восстановления русского духа и русского народа . . .

Костя замолк. Я сидел пораженный речью Кости. Ярко светило солнце над густо-фиолетовыми волнами Эгейского моря. Начинал свежеть морской бриз. Народа в ресторане пока еще не было.

Я не знал,что мне сказать, что мне делать после Костиных монологов. Разница между Костей прошлых лет и Костей сегодняшним была огромной и непонятной и восстановить связь и преемственность между прошлым и настоящим Костей казалось невозможным делом.

— Ты хочешь завтракать здесь или предпочитаешь вернуться домой? — прервал молчание Костя. — Здесь кормят просто, без выкрутасов, вкусной греческой пищей, и народ здесь собирается приличный.

— Хорошо, — согласился я, — давай завтракать здесь.

Костя подозвал хозяина и приказал ему держать два столика около нашего незанятыми. За это он заплатит отдельно. На мой удивленный взгляд он пояснил, что не хочет иметь соседей, чтобы они не мешали нам в нашем разговоре.

— А разговор будет серьезный, — добавил Костя, глядя мне прямо в глаза.

Я тоже решил идти дальше в этой странной беседе с Костей. Зная его в прошлом, мне как-то даже не верилось, что Костя и в самом деле стал таким серьезным человеком.

— Ты не ответил на мой вопрос, в чем заключались отрицательные стороны русской церкви, — напомнил я Косте.

— Отрицательные стороны русской церкви, — начал Костя, — представляли собой ее так называемые „князья церкви", митрополиты и другие иерархи, среди которых было немало греков, присылавшихся из Царьграда. Отличались также и игумены многих монастырей, рассеянных по всему лицу земли русской, неохотно подчинявшиеся высшей духовной власти из-за дальности расстояний и вообще плохо налаженной связи в те времена. А „князья церкви" были избалованы своим положением и привилегиями. Они предавались чревоугодию, выпивали немало и к женскому полу у них отношение было далеко не пастырским. Во многих монастырях разврат был явлением довольно частым. Эти „отцы-пустынники" щеголяли своими роскошными одеяниями, одеваясь в шелк, бархат и парчу. Даже исподнее белье и чулки делались из шелка. На обуви носили серебряные пряжки с вставленными в них бриллиантами. Сакос

патриарха Никона был сделан из чистого золота, сплошь был унизан жемчугом и весил более пуда. „Вериги" эти Никон, крупный человек, носил с трудом. Митрополиты, архиереи и игумены разъезжали в колясках, запряженных хорошими лошадьми.

Монастыри владели громадными земельными наделами, которые обрабатывались монастырскими же крепостными. Обращались с этими „рабами Божьими" довольно жестоко и в случаях, когда эти крепстные выражали свое недовольство, их и секли, и пытали, и даже вешали, но жаловаться было некому.

На верхах белого духовенства тоже были нелады. Процветали и взятки за рукоположение в церковный сан и за получение более или менее „хлебного" прихода.

Иногда вспыхивали бунты народные против духовенства, и в них принимали участие обиженные священники. Кара за такие восстания бывали весьма суровой.

Процветала борьба против „ересей" всякого рода и вылавливание еретиков, а позже — старообрядцев и сектантов, от церковно-казенного Христа искавших Христа живого, истинного, не обрамленного сухими догматами и постановлениями каких-то неизвестных простому народу отцов церкви.

Святейший Синод! — проговорил Костя, задумчиво глядя вдаль Эгейского моря.

— Что только там не творили в продолжении ряда столетий заседавшие там „князья церкви" с теми же русскими старообрядцами не желавших молиться по исправленным Никоном церковным книгам? Тебе это известно? —

— Да, — как-то промямлил я.

— Если забыл то я тебе напомню. Их преследовали, убивали, заставляли их сжигать самих себя в их церквах, скитах и моленных. Иногда гонения временно прекращались как при Петре III-ем и Павле I-м, но почти до самой революции старообрядцам не разрешалось строить их церквей, за исключением их кладбищ. Обыскивали не только их храмы разыскивая бесценные древнейшия книги которыя потом сжигались как еретические но даже запрещались вешать колокола в их церквах. Вместе колоколов — у них висело деревянное било — звуки которого и сзывали последователей „древняго благочестия" на их церковную службу. Церкви их разрешали строить только за городом — при кладбище да еще обнесенным высоким забором. На похоронных процессиях не разрешали петь громко их похоронные молитвословия.

И в то же время в России любая национальность имела право исповедовать ея религию как хотела. Но только не старообрядцы. А ведь это были самые русские из всех русских населявших огромную страну Россию, которые вследствии их же русскости не хотели подняться и подражать „просвещенному Западу".

Они верили да даже и за рубежом обретающиеся продолжают верить в их русскость, в русский талант. Они знали, что пусть медленно, но Россия с ея старинным укладом, объединенная их старой одной религией пойдет далеко, не утрачивая ея национального облика. И для этого по их понятиям нужно было иметь общую веру, общий дух, даже их монотонное „крюковое" церковное пение — чтобы

поповедовать духовное единомыслие — жить русской жизнью, забыть о мишурной культуре запада. — Костя замолк. Молчал и я — не знал, что ему сказать.

— Старообрядцы всех толков, в особенности поморы, были замечательными людьми. Здоровые духом и телом. Среди рекрутов-поморов процент непригодных к военной службе по здоровью был всегда НОЛЬ.

Они были отважными мореходами сделавшими много открытий в Северном Океане, не курящие, не пьющие, они создали не только крупную заморскую торговлю, но даже в России организовали крупнейшия предприятия.

И вот таких русаков, крайне нужных стране, Синод загонял в подполье, куда они и прятали их крупные капиталы, хранили их по сундукам, не вкладывали в банки снижая таким образом капитал нужный стране для коммерческих оборотов. Деньги нужно было искать за границей. И эта травля шла по указу Синода почти до самой революции.

А народу был нужен Христос, русский Христос, каким он был изображен на картине художника Иванова „Явление Христа народу". Помнишь?

Я кивнул головой.

— Народу не нужен был Христос на иконе, покрытой драгоценной ризой и драгоценными камнями, — продолжал Костя. — Ему был нужен простой русский Христос, понимающий нужду, горе и безвыходное положение русского человека, учивший, что еще до Царства небесного кроткие в своих страданиях люди русские унаследуют землю.

Вот такого Христа казенная старая русская церковь не хотела или не могла дать своей пастве. Правительство русское на такого рода явления внимания не обращало, предоставляя судить, рядить и вести дела церковные „князьям церкви".

Но когда в России был установлен патриархат и патриархи начали вмешиваться в дела государства, то тут дело приняло другой оборот.

Волевой, сильный и гордый патриарх Никон, именовавшийся „Великим Государем и Святейшим патриархом", правил государством во время отлучек Царя Алексея по военным делам. Но Никону этого было мало. Он действительно вообразил себя соправителем Царя. И глубоко религиозный Тишайший Алексей Михайлович, после долгих увещеваний и разговоров, должен был заточить своего любимца Никона в Ферапонтов монастырь. Последующие цари пошли еще дальше. Петр Великий после смерти патриарха Андриана вообще не назначил нового патриарха, оставил лишь „блюстителя патриаршего престола" и учредил Синод.

Я тебе уже говорил, что творили с духовенством и Петр Великий, и в особенности Анна Ивановна с Бироном, и даже Екатерина Великая. Но от таких издевательств больше всего доставалось рядовому духовенству; „князья церкви" мало страдали от суровых мер правительства.

— Костинька! Ты что ж, вздумал читать мне курс по русской церковной истории, что ли? Предметом этим я интересовался мало...

— Вот поэтому-то я тебе и говорю то, что я знаю и твердо знаю о том, как правительство русское смо-

трело на церковь и на ее служителей и как оно поступало с ними в нужных случаях.

В простом народе сложилось верование, что все эти патриархи, митрополиты и архиереи были подлинно святые люди, „не от мира сего", бескорыстно служившие вере, церкви и народу, а на деле? Нет, брат ты мой! Многие из этих „святителей" вели себя отвратительно и даже отталкивающе. Таких случаев было не мало. Я приведу тебе один из них, — это с канонизацией св. Серафима Саровского. Этого великого подвижника, молитвенника за землю русскую и провидца, пользовавшегося любовью и уважением не только народа, но даже и царей русских, не хотели канонизировать в течение целых ста лет. Кто же был против канонизации? Знаменитые митрополиты Московские Фотий и Филарет, но главную роль в этом деле играл Святейший Синод. И только при последнем Государе, вопреки желаниям Синода, св. Серафим был канонизирован.

Как видишь сам, „князья" старой русской церкви особой праведностью не отличались. Лицомерили, фальшивили, льстили, приспосавливаясь к любой обстановке, но только так, чтобы быть в милости правящих кругов. Тот же митрополит Филарет Московский в угоду сторонникам крепостного права находил нужные ему тексты из священных книг, оправдывающие крепостничество, а когда началась подготовка реформ Александра Второго по освобождению крестьян, находил в тех же источниках тексты, порицающие рабство.

И несмотря на присутствие таких явно вредящих православию личностей, православие вошло в плоть и кровь русского народа и как глубоко вошло оно в его душу, — этого даже описать нельзя!

— Костя, ей-богу я не верю своим ушам, слушая тебя! Это верно, что ты, действительно, „тако веруеши"?

— Да, это верно, Колька. Я — в прошлом пират, корсар, пьяница, бабник, не особенно „чистый на руку" арап, я много читал, учился и наблюдал и вот теперь уверовал в значение русского, не греческого толка, православия в России. И я, Костя Попандопуло, говорю тебе, что национальное возрождение России произойдет благодаря православию и рядовому русскому духовенству. Православие продолжает там теплиться неровным светом, как лампада, задуваемая суровыми ветрами лихолетия, и продолжает сиять своим умиротворяющим, подающим надежду светом.

Так горят свечи в бумажных колпачках в руках людей, возвращающихся из церкви на Страстной неделе после чтения двенадцати Евангелий в Великий Четверг, после последнего возгласа священника: „И приложи кустодию..."

Да, Колька! Христа в революционной России распяли, умертвили, в гроб положили, даже печать приложили к этому гробу, но Христос воскрес! Смертью своею смерть веры поправ!

Так воскреснет, благодаря православию, тоже распятая Россия и озарит мягким светом любви и сострадания весь род людской.

Духовенство, сбросившее с себя роскошные одеяния, оставившее свои пышные палаты, пойдет в народ как старшие братья, наставники и помощники не только в делах духовных, но и житейских. Они окажут громадную помощь в деле возрождения на-

ционального духа, любви к родине и гордости, что они родились русскими...

— Ты в этом уверен? — спросил я.

— Да, я уверен в этом, как и в том, что и сам народ, насильно затянутый в царство жестокого, духовно мертвого марксизма, прошедший через неописуемые страдания, очистится от возможных прошлых грехов своих.

Он уже узнал, что такое его родина, и загорелся небывалой в истории русского народа любовью к своей отчизне. Он уже больше не хочет быть бездушным, покорным роботом, исполняющим волю не менее бездушных заправил сталинского толка. Он хочет жить духовной жизнью. Он ее ищет, идет к ней навстречу. Пока что он натыкается на всякого рода преграды, но уже не такого свирепого характера, какими они были при Сталине. И он выйдет победителем из этой глухой борьбы. Громадный подъем православия в России отрицать нельзя. —

Я был поражен такими, возможно надерганными, но очень искренно звучавшими Костиными убеждениями. Мне не верилось, что так мог говорить Костя. Кто-нибудь другой, — да, но Костя!

— Слушай, Костя, — сказал я ему, — что греха таить! Всю жизнь я знал тебя как „бандита", ни в Бога, ни в черта не верившего, к концу жизни, правда, изменившегося немного после несчастной любви к Людмиле, но все же?! Откуда у тебя, в прошлом „картожника", мог вообще появиться интерес к православию и к роли церкви в истории русского народа? Откуда у тебя вера в то, что православие сыграет, да уже и играет большую роль

в духовной жизни России? Объясни мне это, пожалуйста!

— Сначала давай чего-нибудь съедим. Я устал и проголодался, — предложил Костя. Он заказал подошедшему хозяину незамысловатый завтрак с бутылкой хорошего сантуринского вина.

Ели мы молча. Зал понемногу наполнялся публикой. Многие раскланивались с Костей, как со старым знакомым, некоторые подходили и разговаривали с ним. На все их вопросы Костя спокойно и вежливо отвечал без всякой так ему присущей бравады. Я все больше и больше изумлялся происшедшей в Костином характере перемене.

После завтрака нам подали кофе. Мы закурили, и Костя, глядя на видневшийся вдали афинский Акрополь, начал:

— Тебе кажется странным, даже непостижимым, мой интерес к церкви, меня „бандита", „корсара" и всего, что хочешь, в прошлом. Но поверь мне, что „я лучше моей репутации", как говорил в свое время знаменитый банкир Митька Рубинштейн. — Костя улыбнулся и продолжал:

— Я грек, родившийся в России, но, благодаря бабушке, вскромленный греческим православием, которое очень разнится от православия русского. Греки — народ верующий до ханжества, до суеверия. Но за свою веру они ожидают какого-то вознаграждения, чуда, если хочешь. И если нет ожидаемой награды за эту веру, сейчас же изрыгаются проклятия и богохульство, которым нет равных в мире.

Ты помнишь, как греки — капитаны парусных судов стояли в Керчи и ожидали попутного ветра,

чтобы идти на север? И что они делали в таких случаях?

— Нет, не помню, — сказал я.

— Они снимали судовой образ, всегда св. Николая Чудотворца, перед которым теплилась лампада. Если ветра долго не было, икона Чудотворца на „шкерте" (конец веревки) бросалась за борт, где и плавала до тех пор, пока не начинал дуть попутный ветер. Ветер подул? Икона вытаскивалась из воды, водружалась на свое место, и перед ней зажигалась лампада. Судно шло в море. Это явление считалось нормальным, ничего святотатственного в нем не находили.

Вот таким православным греком был и я. Удавалось дело, я ставил свечки, жертвовал на церковь. Не удавалось? Сквернословил я тогда отчаянно.

Много лет тому назад, перед второй мировой войной, еще на нашем первом пароходе „Танаис", ты тогда сидел в Нью-Йорке, я пошел с важным грузом в Варну из Марселя. Перед уходом в море пришел ко мне один русский и попросил меня взять его за работу пассажиром до Варны [1]).

Был он высокого роста с типично спокойным лицом русского северянина, с уже седящими усами и бородой и почему-то со страдальческими голубыми глазами.

На мой вопрос, говорит ли он по-гречески, он ответил, что да, говорит (вся команда была из гре-

---

[1]) До создания крепких морских союзов — существовал обычай по которому капитан торгового корабля имел право взять за работу до порта незначения кого он только найдет пригодным.

ков). Я принял его на корабль, записал в палубную команду. Хотя по паспорту было ему 67 лет, был он еще крепким, здоровым стариком.

Вся палуба была загружена большими ящиками с машинами, и все время нужно было следить, как сам знаешь, за их креплениями (найтовы). Ладно. Вышел я в море и попал в дикий шторм. Ты знаешь, что это за удовольствие — шторм в Средиземном море. От яростной качки палубный груз начал двигаться. Мне самому пришлось работать с командой, крепить найтовы, чтобы ящики не снесло в море, и, конечно, ругался я, как весь цех таганрогских сапожников вместе взятых.

Случилось несчастье: раскачавшимся блоком одному матросу во время авральной работы размозжило голову. Доктора, конечно, не было. Я сделал все, что было можно сделать, но матрос ночью умер. Шторм утих. До ближайшего порта было еще далеко, и я решил похоронить покойника в море. Зашили мы его в парусину, привязали к ногам пару колосников, поднесли к борту. Собралась вся команда. Земляк погибшего плакал, говоря, что, вот, приходится хоронить без отпевания и без священника бедного труженика моря, оставившего в Греции на произвол судьбы большую семью.

Тогда этот русский пассажир предложил мне отслужить панихиду. Усталый и злой, я машинально принял его предложение, и на прекрасном греческом языке был совершен обряд погребения в море.

Труп, при спущенном флаге, был погружен в воду, и команда разошлась по своим местам.

Пришли мы в Варну, и началась разгрузка корабля. В каюту ко мне, где я медленно попивал ви-

но, пришел этот мой русский пассажир и, поблагодарив меня за услугу, просил вернуть ему его нансеновский паспорт [2]).

Я усадил его и предложил, как земляку, стакан вина, начав искать его бумаги. Потом я вспомнил панихиду в море и спросил его, откуда он знает церковную службу, да еще на греческом языке.

— Я окончил духовную академию в Петербурге и был епископом в России еще до революции, — мягко улыбаясь, ответил он.

От удивления я чуть было не выпустил из рук стакан.

— Вы были епископом? Где? И почему Вы очутились за рубежом? Куда Вы направляетесь теперь? — засыпал я его вопросами.

— Епископом я был еще в 1912 году. Бил назначен в русскую северную область, населенную главным образом зырянами. Некоторые из них даже втайне продолжали покланяться своим старым языческим богам, несмотря на то, что Евангелие и другие священные книги были уже переведены на зырянский язык, правда — крайне бедный. Слово „Бог", например, было переведено как „богатый человек" и оно было максимумом их понятия и воображения о Высшей Силе, управляющей всем миром. Суровой была жизнь зырян, но я и мои сослуживцы священники помогали им, как могли.

---

[2]) Нансеновские паспорты давались безвозмездно Нидерландским правительством всем русским беженцам оставившим Россию в 1920 г. Они действительны по сие время — и есть еще старики проживающие по ним по многим странам.

Началась война 1914 года. Я был переведен в город в юго-западной части России. Вспыхнула революция, затем началась гражданская война. Подхваченный потоком беженцев, я очутился за границей впервые. Знание нескольких иностранных языков давало мне возможность немного зарабатывать на хлеб насущный. Я мог бы устроиться на постоянную работу, но вместо этого исколесил, зачастую по-апостольски, — пешком, всю Европу. Да и в Америке тоже побывал. Попал туда, как и у вас, пассажиром на пароходе за работу.

Все время я искал каких-то откровений. Присматривался ко многим народам, сравнивал их с нашими русаками. И нашел я, что русский человек, невзирая на все его возможные недостатки, — это на редкость хороший человек. Ему и России уготовано судьбой вывести весь род людской из того тупика, в котором он очутился после первой войны.

— В каком тупике очутился весь мир после войны? — удивленно спросил я. — Смотрите, все идет порядком. Вот в России, там еще бушует огонь революции, но, я думаю, и это скоро уляжется. А вы говорите — „тупик"!

— Капитан! Когда вспыхнет новая мировая война, то прошлая покажется вам игрушкой. Вот тогда вы вспомните меня и мои предсказания. России предстоит перенести неимоверные бедствия и принести огромные жертвы, перед которыми татарское иго покажется детской забавой. Она перенесет и переживет и это испытание и выйдет победительницей, но при одном условии: если она не утратит своего национального духа и своего православия и не забудет своей истории, загнанных в подполье, в глубину рус-

ской души зверствами Сталина и его сподвижников.

Все эти духовные богатства еще хранятся в душе каждого русского человека. Их нужно если не вывести наружу, то по крайней мере их поддерживать. Создавать культурную преемственность от прошлого, старого русского с молодым поколением, выхолощенным влиянием западного, чуждого русской душе учения Маркса и его присных.

Вот поэтому я и приехал в Варну, чтобы отсюда пробраться на родину и духовно помогать, как мирянин, моим русским собратьям...

— По-моему, попадете вы под расстрел или же загонят вас куда-нибудь на Воркуту, а оттуда нет возврата.

— Капитан! Я епископ. Никто меня еще не лишил этого сана. И, как епископ, я имею сан святителя. По постановлениям отцов церкви я, как святитель, должен быть всегда готов за мою веру, за мои убеждения пойти на какие угодно мучения, на самую лютую смерть от врагов веры моей и моего русского православия.

Я проберусь в Россию так или иначе. Я выполню свой долг перед русским православием и перед великим будущим русского народа. И если мне придется умереть, я умру спокойно, с сознанием, что я выполнил свой долг как христианин, как православный русский человек.

— Ну что же! — сказал я. — Желаю вам удачи на этом поприще. Если вам нужны деньги, я вам помогу.

— Благодарю вас, денег мне не нужно. Но я попрошу вас сделать мне одно одолжение...

— С удовольствием, — заверил я епископа.

— Капитан, мне скоро исполнится 70 лет. Учился я многому, видел не мало самых различных людей и научился определять каждого человека сразу. Наблюдал я и за вами с первого же дня, когда попал на ваш корабль.

У вас доброе сердце, хорошая, даже нежная душа. Вы умны. Но все эти качества вы прикрываете маской суровости, даже грубости, и жестокой и отчаянной, богомерзкой площадной руганью.

Сквернословие, — это расписка в своей неспособности найти нужные доказательства, необходимые убеждения.

И недаром в Писании сказано, что не входящее в уста, а выходящее из уст оскверняет человека. Я бы хотел, чтобы вы если не совсем перестали ругаться, то по крайней мере ругались бы поменьше. Этим вы доставите мне большое удовольствие. Даете слово?

— Даю, — сказал я, внутренне улыбаясь, зная, как нашему брату „легко" забыть ругавку.

— Благодарю вас, — сказал епископ. — Теперь я ухожу. У меня небольшой сундучек с книгами, очень интересными и нужными для развития человека. В особенности такого человека, как вы. Разрешите мне оставить эти книги вам как мой подарок. В море, если захотите, будете их время от времени читать. Быть может и заинтересуетесь. Ну, Христос с вами! — И он вышел из моей каюты.

Этот „очарованный" странник оставил в моей душе глубокий след. После его ухода матрос принес

мне сундучек епископа. Открыв его, я увидел, что он наполнен книгами, чьи названия ничего мне не говорили и не были мне знакомы. Тут были и Сократ, и Платон, и Аристотель, и Сенека, и история Византии, и несколько других древних книг на латинском и древне греческом языках.

Закрыл я этот сундучек. А потом, в море, начал понемногу читать эти книги. Конечно, я ничего не понимал сначала, но потом прочитанное стало принимать какие-то расплывчатые, но все же формы.

Несмотря на слово, данное епископу, стать более или менее выдержанным человеком, я оставался самим собой. И пил, и ругался, и за бабами волочился, в общем, сам знаешь, каким я был раньше.

Но почему-то . . . да, наверное, из тщеславия, я начал разыгрывать из себя философа и поражать моих собутыльников в Афинах моими „познаниями" в философии. И так все шло до история с Людмилой и до моего возвращения в Грецию. И вот тут, в Греции, эти старички-профессора и направили меня на путь истинный.

Они не только привели в порядок мои путанные понятия о философии, но и научили меня многому, — справкам по мировой истории и общей культуре человечества. Благодаря этим старичкам, я стал другим человеком. Главное же то, что я научился любить Россию. Я стал гордиться тем, что я, американский граждаиин, родился и учился в России, в стране, которой с ее народом придется сыграть мировую роль в создании приличной жизни для всего рода человеческого . . .

— Да, действительно, — перебил я Костю, — твои старички-профессора научили тебя многому, как ты

сам говорил. И, главное, они научили тебя здраво и логично рассуждать о разных вещах. Хорошо. Ты начал говорить о какой-то грядущей революции, а закончил тем, что народ выйдет победителем в этой глухой борьбе благодаря роли православия. Я тут, брат мой, ничего не понимаю: что ж, по-твоему, снова произойдет революция? Одной было мало, что ли? Или в чем тут дело?

— Очень просто, Колька, очень просто. Я не говорил о грядущей революции в России, она там уже имела место, и другой революции я России и не желаю. Потому что, случись она, от России мало что останется. Разорвут ее ее же благожелатели по кускам.

Московские заправилы уже давно поняли, что мировую революцию им устроить никак нельзя. Ранние попытки обошлись русскому народу в течение полустолетия в неисчислимые суммы денег и потребовали больших жертв.

На этом деле русский рабочий потерял, а заработали главным образом пролетарии во многих странах. Все почти, кроме России.

Из боязни перед красной Москвой рабочей силе Запада были даны и прибавки, и увеличение отпусков, и много других привилегий. Лишь бы не было среди рабочих волнений, протестов и демонстраций.

И все это было сделано благодаря русскому Ивану, выполнявшему различные пятилетки одну за другой в продолжение почти 50 лет и пролившему массу крови во время зверств Сталина и во вторую мировую войну.

И этот Иван за все его самопожертвование должного вознаграждения не получил.

А в это время его собрат, западный рабочий, живет, как король. Хорошо зарабатывает, имеет хорошую квартиру, и мебель, и телевизор, и автомобиль, в котором катается по всей Европе.

Все это у него есть, это верно. Но здесь есть маленькое „но". Оно состоит в том, что все эти блага, зачастую ему не нужные, продаются ему в кредит. С высоким процентом интереса. Во Франции рабочий, покупающий квартиру в кредит, должен платить 17% интереса, погашая задолженность в течение 20 лет. А это значит, что он заплатит за квартиру больше, чем двойную ее стоимость.

Но этого мало. Ведь его оторвали от земли, соблазнив крупным заработком в городе, оторвали его и от семьи, и от общины, на чью помощь он всегда мог рассчитывать в трудную минуту жизни, и водворили в город. Дали ему скучную, однообразную работу на фабрике, где он является маленьким винтиком громоздкой, сложной машины. Такая работа обезличивает его. Она делает из него самого какого-то робота. Сначала он не обращал внимания на то, в какие условия он попал. Наслаждался жизнью в городе, жил во всю. Но когда он увидел, что после уплаты всех долгов за „роскошь" городской жизни ему почти ничего не остается, то он начал думать, — стоит ли эта игра даже дешевых свеч? А если он заболеет или потеряет работу, тогда что? Со скачущей все время вверх дороговизной жизни вспомоществования от государства на случай безработицы или болезни почти никогда не хватает, и ему приходится влезать в долги, чтобы заткнуть глотку

кредиторам за квартиру, за автомобиль, за телевизор, и за массу других ненужных, но им приобретенных, благодаря истерической рекламе, вещей. Конечно, банк даст ему денег взаймы, ведь банкир, — это человек, торгующий деньгами, но лишь в том случае, если у него есть верное обеспечение уплаты долга банкиру, да еще под высокие проценты. А если обеспечения нет? Тогда нужно искать денег у частных профессиональных заимодавцев-ростовщиков, которые в данный момент не стесняются давать деньги в рост, считая от 48 до 111% интереса!

— Ты уверен в этом?

— Да. Возьми лондонский "Daily Express" №22. 825, там ты найдешь подтверждение моему заявлению. Ну, да не мешай мне твоими замечаниями, дай мне закончить мой рассказ. Работодатели смотрят на рабочего как на неудачника в жизни. Если бы он, мол, был бы умнее, то, конечно, не стоял бы у станка, а так, в их понятии, рабочий — это быдло. Конечно, „быдло" это знает и по-своему реагирует на такое мнение, но недовольство свое и даже злобу скрывает, пока ничего не говорит. Молчит. Но молодежь, в очень большом количестве, та прямо не желает работать или даже учиться чему-нибудь. Зачем? Все равно мир будет уничтожен атомной войной, так кому надо работать?

А пока? Пей, ешь, наслаждайся „свободной любовью", увлекайся наркотиками, играй на гитаре и путешествуй по всему миру. Иди пешком хоть в Индию и не беспокойся, подвезут по дороге. Ну, и прет вся эта публика по всему миру, и вернуть их всех к нормальному состоянию уже поздно, — это потерянное поколение. Но они чего-то ищут и да-

же требуют, как и рабочие, дележа благ земных, находящихся в руках людей богатого круга. А круг этот, благодаря непрестанным с 1939 года и по сие время войнам, стал очень обширным во всем мире, как еще никогда в истории человечества.

За жизнью этих богатых людей пристально следят особые, специально тренированные журналисты и фотографы, которые и оповещают весь мир честной в печати, по телевизии, по радио и в кинематографах о жизни этих плутократов, о вновь построенной яхте такого-то миллиардера, своей роскошью ставящей яхту русского царя „Штандарт" на последнее место; об умопомрачительном ожерелье из изумрудов, купленном одним типом для своей жены; о каком-то заводчике, производящем вооружение, который весьма хладнокровно спустил в течение одной недели, играя в рулетку, несколько миллионов долларов, и так далее. Ты знаешь ресторан „Пират" около Монте-Карло? — вдруг спросил меня Костя.

— Слышал о нем, но там не бывал, — сказал я. — А что?

— Я-то там бывал, — продолжал Костя. — Страшно дорогое место. Изысканная кухня, вина, словом — все, чего может пожелать какой-нибудь самый дикий миллионер, — все там есть. Приезжает туда смешанное, из разного рода капиталистов, общество нагло разжиревших типов, которые от пресыщения уже не знают, что им делать.

В конце ужина устраивается „игра". Тянут жребий, и проигравший должен выйти в сад ресторана и взобраться на дерево. Его освещают прожекторами, и другие участники „игры" берут большие шары мо-

роженного и швыряют этими „бомбами" в своего приятеля, сидящего на дереве. На эту „игру" тратится столько дорогого мороженного, что многие из бедных детей не только не съедали, но даже и не видели такого количества за всю их жизнь. Все это, конечно, становится известным рабочим и радикально настроенной молодежи и „наматывается на ус".

В среде этой богатой публики происходят и романы, и интрижки, и существуют массовые половые оргии, о чем, конечно, знают и пишут вот эти „светские" репортеры. Процветает увлечение и наркотиками. Это тоже становится известно массам народным.

И молодежь, да и рабочий класс копируют жизнь людей „высшего" круга. Пьют, жрут, увлекаются „свободной любовью" и всеми видами половой извращенности, не брезгают и наркотиками. Правительства многих стран, в особенности скандинавских, даже поощряют такого рода „времяпровождение" своих граждан. Порнография, в фотографиях, синема и театрах, с группами „актеров", исполняющих „все и вся" перед зрителями, за плату, конечно, приняла форму серьезной прибыльной индустрии. А раз "Business is Business" („дело есть дело"), то ограничений или запрета на такого рода предприятия, конечно, не существует. Западная Германия, разрешавшая такого рода явления в более или менее скромной мере, провела закон, по которому разрешаются групповые сексуальные „развлечения", обмен женами и всякого рода порнографию, в общем все, что хочешь, за исключением только кровосмешения. Сообщение об этой мере, избавляющей народ „от взгляда" на половые отношения 19-го века (sic!), ты можешь найти в парижском издании "Herald Tribune" № 28. 249.

— Вы, Константин Аристидович, конечно, никогда не увлекались и, Аллах упаси! не видели и не присутствовали на такого рода оргиях в притонах Индонезии, Индокитая, Макао, Гонконга и среди битников Нью-Йорка, и поэтому вам такого рода явления кажутся аморальными? — уколол я Костю.

— А как ты смотришь на это дело? — задал мне вопрос Костя, игнорируя мою колкость.

— Я смотрю просто: в старой России, когда нанимали мальчишку в кондитерскую для учебы, его заставляли три дня обжираться сладостями до отупения. Кроме этих вещей, ему ничего другого есть не давали. Результат? Он всю дальнейшую жизнь ничего сладкого есть не мог и сладостей не воровал. Так же вот и с половыми свободами. Наслаждайся, сколько хочешь, а потом это так тебе „обрыднет", что ты поневоле станешь нормальным человеком...

— Дурак ты, Колька, дурак. Да, я видел немало различных уклонов от нормальной жизни, другими словами — я был грешником или даже преступником, если хочешь. Каюсь, это верно. Но только грешник или преступник может пояснить это, чтобы отучить от греха или от преступления других неопытных, слабых духом людей, легко поддающихся искушениям. Только что рукоположенный в священники молодой семинарист знает о грехе только в теории. А поэтому и его уговоры вести нормальную жизнь успеха не имеют.

В моем случае, я рассуждаю не из желания образумить население Западной Европы от их образа жизни, нет. Я не реформатор и быть им вообще не желаю. Но, благодаря моему опыту во всех пороках,

да, во всех пороках! я могу делать анализ и вывод, к чему приведет людей так называемого свободного мира такой образ жизни.

— К чему же он приведет? — полюбопытствовал я.

— Ты прекрасно знаешь, что существование каждого государства или нации возможно только при условии наличия семьи, религии, любви к родине и уважения законов страны. Если только одна хотя бы часть этой формулы будет уничтожена, конец такого государства неизбежен.

Вследствие половой распущенности и невоздержанного образа жизни семья, как цемент, нужный для спайки государства, перестает существовать, и такому государству угрожают всякие беспорядки, революции и т. д., вместе с которыми наступает конец не только народам и странам, но и их цивилизации и культуре.

Так случилось с Грецией, Римом, Византией. И то же самое, я вижу, произойдет и с западно-европейскими странами. Это неизбежно. Наступили „сумерки Европы", о которых писал Кайзерлинг...

— Господи! Ты даже это знаешь!

— Перестань острить, пожалуйста, это очень серьезно! Светоч европейской культуры гаснет. И скоро оттуда, из разжиревшей, пресыщенной, разбогатевшей благодаря войне Европы, будет идти мрак. Сплошной мрак, Колька, понимаешь? Сплошной мрак.

Хотя эта угроза еще недоступна пониманию народа, но он уже чувствует все же, что ему нужно искать выхода из этого тупика. И тут на помощь ему приходят всякие группы с разными учениями о различных формах социализма, в которых главную

роль играет идея коммунизма. А эта особенность, конечно, ведет к революции, кровавой, ужасной и, как это ни странно, даже коммунистической Москве не нужной.

— Это же почему? — спросил я. — Ведь красная Москва уже на протяжении более, чем полувека только и занимается тем, что раздает деньги народные направо и налево, любой стране, начиная от Китая и до Тимбукту, чтобы устраивать революции, а ты говоришь, что если в Западной Европе произойдет революция, то она Москве не будет нужна? Москве коммунистической, мечтающей о воцарении коммунизма во всем мире! Чепуху ты несешь, Костя!

— Чепухой я перестал заниматься уже давно, — возразил Костя. — А вот на основании моих наблюдений и изучения важных вопросов я пришел к заключению, что коммунизм, как таковой, существует в России только как официальная вывеска государственного аппарата, правящего страной. А на деле там вернулись к „старинке" и правят страной так же, как это делалось при царях, только не под двуглавым орлом, а под серпом и молотом. И в данный момент там существует дух времен Николая Первого Павловича, которого московские заправилы очень и очень уважают. Провести параллель между правительством Николая Первого и московскими вождями очень легко...

— Ну, Костинька, детка! Ты, я вижу „дошел", — и я покрутил пальцем у своего виска.

— Я-то дошел, — сказал Костя, — а вот ты не пришел, я вижу, к здравому пониманию того, что если революция на Западе никоим образом не совпа-

дает с интересами Москвы, то красный Пекин, наоборот, только и мечтает о такой революции на Западе и ведет в Европе бешеную пропаганду.

— Это же почему? — спросил я.

— Господи! — простонал Костя. — Слушай, что я тебе говорю сейчас. Неимоверными усилиями, кровью, голодом и лишениями Россия приобрела мировое значение и стоит теперь наряду с Америкой. Верно?

— Допустим! — согласился я.

— А знаешь ли ты, кому обязана Россия своим ростом?

— Нет, не знаю, — сказал я.

— Неиспорченному, закаленному в лишениях русскому народу. А дай ему западные свободы да допусти его сближение с Западом, то сам знаешь, что произошло бы в России: она усвоила бы все пороки западного общества, пресыщенность жизнью, пьянство, наркотики, разврат и вообще самый отвратительный материализм, о котором не мог даже и думать ни один материалист-философ.

— Ты что ж, хочешь сказать мне, что в России этих пороков не существует, что ли? — спросил я Костю.

— Они существуют, но в очень малой степени. Пьянство, — да, идет в планетарном масштабе. Но во всех других привычках и наклонностях русский народ, и малый, и старый, стоят в моральном понятии куда выше своих западных собратьев. И поэтому, как и встарь, московское правительство очень неохот-

но выдает разрешения на выезд за границу, избегая сближения своих граждан с другими народами, в особенности с народами Запада. Они, как и цари, боятся, чтобы народ не заразился настроениями Запада, которые загнали бы его в тупик и повели бы верными шагами к ужасной революции, такой нужной красному Китаю.

Революция на Западе Москве совершенно не интересна. И, как это ни странно, Колька, Москве эту революцию нужно предотвратить во что бы то ни стало. Это будет звучать парадоксом . . .

— Господи, какими словечками вы, Константин Аристидович, бросаетесь: „парадоксы"! . .

— Перестань балаганить, я говорю с тобой совершенно серьезно.

— Да уж серьезнее и быть не может, — подхватил я. — Тут тебе и Москва и Запад, и грядущая революция на Западе, которая не нужна Москве, и то, что эта же самая Москва должна предотвратить эту революцию, потому что она не входит в ее интересы! Тут, Костя, дело пахнет не визитом к психиатру, а прямым рейсом в дом для умалишенных. Ты, может быть, даже думаешь, что красной Москве придется сыграть роль спасительницы всей Европы от какой-то надвигающейся грозной анархии?

— Да, я в этом уверен, — подтвердил Костя.

— Ну, знаешь, Костя, ты и впрямь „до ручки дошел", как говорили в Таганроге. У тебя в голове каша! Тут тебе и православие, и философия, с Гераклитом во главе, и грядущая революция на Западе, и Китай . . .

— Никакой каши у меня в голове нет, и царит в ней, скорее, логический порядок.

— Сомневаюсь! — сказал я. — Докажи!

— Просто! Москва уже отказалась устраивать всемирную революцию. Она поняла на полувековом опыте невозможность этой задачи. Возможно, что ее агенты еще кое-где продолжают сидеть, но они только наблюдают. Запад, разрушенный революцией, Москве совершенно не нужен, это ясно. Но вот Китай, — обрати внимание на то, что я буду говорить тебе сейчас, — Китай — другое дело. Китаю, не только как политической единице, но как расе, необходимо получить контроль над всем миром, а потом и покорить его во славу Мао-Цзе-Дунов и прочей желтой братии. И Китай ведет тихую, но могучую пропаганду во всем мире. Нет такой страны в Европе, где китайцы не вели бы своей пагубной работы. В особенности это заметно во Франции, где они образовали сильную левую группу, которая яростно нападает даже на более умеренную группу коммунистов русского толка.

Работают китайцы не только в Европе, но и в Африке и на Востоке, начиная показываться и в Америке. Пахнет это очень нехорошо. Это, помоему, угроза всему белому миру, который в данное время занят только ссорами.

А красно-желтому Китаю нужно для достижения владычества над всем белым миром разложить белую расу духовно, морально и даже физически, что китайцы и проделывают весьма успешно, пуская в ход даже и наркотики “Made in China”, предназначенные для белой молодежи, падкой на такую приманку.

В его борьбе за мировое господство Китаю нужен разложившийся и обессиленный белый мир. Москва это понимает и уже начала предпринимать кое-какие меры для противодействия такой политике...

— Какие меры противодействия? — удивленно переспросил я.

— В смысле оздоровления белой расы, в особенности в Европе.

— Ну, знаешь, Костя!.. Едем домой. Я уже не могу больше выносить твои разговоры. У меня от них голова вспухла.

— Поедем, — согласился тоже видимо усталый Костя.

И мы покатили к Афинам... Вдали, на холме виднелся строгий, величественный Акрополь, который своими бессмертными по величию и красоте линиями заставлял серьезно думать многих людей, от Сократа до Кости Попандопуло. В этот день Акрополь был в мареве какой-то красноватой мглы, смеси пыли и отработанного автомобильного газа, — „прелестей" нашего „прогресса". Но даже и этот туман не мешал наслаждаться всегда истинной и ничем не поколебленной красотой античного мира.

Через несколько минут мы были дома, в Кефиссии.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

УПАВШАЯ МАСКА

Вернулись мы с Костей домой довольно поздно. Сославшись на головную боль, я отказался от ужина и прошел в спальню. Там, выйдя на балкон, я сел в кресло, продолжая размышлять о дне, проведенном в Костиной „академии".

От Костиных неумолчных разговоров в моей голове образовалась какая-то густо заваренная каша. И, как мне казалось, не только переваривать ее, но даже и прожевать-то будет делом довольно трудным. Я знал Костю с самого раннего детства, но таким, каким он был сегодня, я не знал его никогда. Одно было ясно: пусть своеобразным, кустарным способом Костя начал делаться мыслящим человеком. Может быть, в нем проснулись угрызения совести за свои капиталы, за все свое прошлое, я не знаю, но он определенно искал какого-то нового смысла в жизни. В чем именно он искал этот новый смысл, как я ни ломал себе голову, понять я не мог. Но ясным для меня было то, что Костя переменился, круто переменился, и, конечно, в лучшую сторону. А вот что

он будет делать со своим новым мировоззрением в будущем? Тут я уже совсем зашел в тупик, и ответа на свои вопросы я найти не мог.

Вдруг голову мою осенила блестящая мысль.

Я вспомнил о своем друге, афонском монахе, да и Костя хорошо его знал тоже, который еще в двадцатые годы поехал на Афон посмотреть этот очаровательный уголок и никогда больше не вернулся в мир, к людям. Он остался на Афоне навсегда, не только посвятив себя Богу, но, как человек всесторонне образованный, занявшись исследованием влияния византизма на русскую духовную жизнь на протяжении почти всей истории России.

Доктор философии, он был еще и незаурядным психологом, написавшим несколько солидных работ в этой области, но напечатанных не под его именем. Отец Дамиан был человеком поразительной скромности и всегда старался оставаться в тени.

Я и решил повидаться с ним, поговорить о Косте. Быть может, он сумеет разгадать загадку перемены в мышлении моего друга.

Я бывал на Афоне не один раз, и сухим, и водным путем. Но получить полное впечатление об Афоне можно только тогда, когда паломник идет на Афон морем из Пирея, предпочтительно маленьким парусным судном, в свежую, почти бурную погоду. Такое путешествие немного страшно для слабонервных людей, но оно приносит большое духовное удовлетворение, когда паломник на своем маленьком суденышке подходит к полуострову. На самой южной его оконечности, на скале громадной высоты (4.300 метров) паломник видит большой темный крест. Это

все. Невольно, если он православный человек, ему приходит в голову слова из Символа веры: „... Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшего в третий день по писанием... Его же царствию не будет конца..."

И паломник, человек земли, невольно общается здесь с Богочеловеком и также невольно начинает чувствовать себя под охраной Высшей Силы, начинает сознавать, что он сам является отражением Божества, как писал об этом Гавриил Державин в своей знаменитой оде „Бог". Пораженный, даже испуганный величием грозной, бушующей природы, человек делается умиротворенным, когда видит этот крест почти под облаками.

Впечатление воистину незабываемое. Суденышко подходит к западной части полуострова, уже защищенной от северо-восточного ветра, и идет в тиши вдоль берега. Часто попадаются остроконечные скалы с маленькими жилищами на вершинах. Скалы эти кажутся неприступными. Живущим там аскетам хлеб и воду доставляют на лодках, веревкой поднимая пищу наверх, в келию. Как добрались туда люди, там живущие, кажется загадкой. Но добираются.

Вот показался знаменитый своей библиотекой Дафнийский монастырь. Он греческий, как и большинство из двадцати шести монастырей, находящихся в этом теократическом государстве. Кроме греческих, есть три русских монастыря, один болгарский и, кажется, один румынский, но я не вполне уверен в его существовании.

Знаменитый Иверский монастырь давно уже перестал быть грузинским монастырем. Там есть по-

трясающая библиотека на грузинском языке, какой нет даже в самой Грузии, есть доспехи грузинских царей и там же находится знаменитая икона Иверской Богоматери, копия которой, но только копия, была послана в Москву и находилась в часовне у Иверских ворот. Теперь Иверский монастырь принадлежит грекам.

Весь Афон подчиняется Вселенскому Патриарху в Константинополе. Имеет свою столицу, Кирие, — центр местного управления обителями. Есть греческий губернатор, жандармерия и, конечно, таможня.

Вот Дафнийский монастырь оказывается уже за кормой. Вы идете на север, открывается маленький заливчик, ваш корабль поворачивает направо. И перед глазами разворачивается величавая панорама русского Пантелеймоновского монастыря. Вашим суденышком вы подходите к маленькой пристани и швартуетесь.

Налево высится красивая громада собора Св. Пантелеймона-Целителя. Громадная колокольня с большим колоколом в 1.000 пудов, отлитым в России и турками, да еще на парусном судне, доставленным на Афон. Трудно описать сокровища этого собора. Только одно Евангелие, подаренное монастырю Петром Великим, высотой больше аршина, в золотом переплете, украшенном бесподобными рисунками из множества разноцветной эмали, поражает глаз своей необыкновенной красотой и работой русских умельцев. Богатая, русской работы, ризница, а о множестве редких русских икон, находящихся в этом храме, я и говорить не буду. О них можно написать целую книгу.

Направо от собора находится огромный странноприимный дом. В нем почему-то 999 комнат и 26 домовых церквей. Сооружено это здание тоже русскими умельцами, с солидной русской же, в три кирпича, кладкой. Существует и типография с хорошими в прошлом, а теперь заржавевшими машинами. Когда-то там работали шесть типографов, а теперь все пришло в запустение. Есть и маленький госпиталь с большой русской аптекой и лекарствами, приготовленными еще до 1914 года. Раньше был доктор, теперь лечить некому. Была громадная библиотека (она сгорела) с редчайшими книгами, многими первыми изданиями, с бесценными рукописями и письмами знаменитых русских людей. Все это теперь пропало.

В сгоревшем Андреевском скиту погибла такая богатая библиотека, какой, по уверениям специалистов, не было и в старой России. Такова, значит, была судьба, а теперь восстановить ничего нельзя.

Монастырь имеет много земли (20.000 стрем), но монахов мало, да и древние они уж очень люди, — работать некому. Приходится нанимать рабочих по вольному найму, им, конечно, надо платить. Результаты плачевные, еле-еле перебиваются, лишь кое-как сводя концы с концами.

Греки не пускают сюда в большом количестве не только русских, но даже и греческих монахов. А неприязнь греков к русским монахам существовала всегда, теперь же — в особенности. Чем все это кончится, не знаю, но очень будет жаль, если русские ценности попадут в чужие руки.

Я направился к домику о. Дамиана. Он жил отдельно, на отшибе, так как одной монастырской ке-

лии ему с его книгами и рукописями было мало. Отцу Дамиану шел девятый десяток. Несмотря на это, каждый более или менее опытный русский человек старой школы мог бы сразу увидеть в о. Дамиане бывшего военного, блестящего происхождения, из семьи богатого служилого сословия и крайне культурного, к тому же, человека.

О. Дамиан учился сначала в Александровском лицее и перешел оттуда в Пажеский корпус. Вышел он из Пажеского корпуса одним из первых в своем выпуске еще до 1914 года в гвардейскую кавалерию. Всю первую мировую войну он провел на фронте, получил несколько ранений и много наград. Служил потом и в Белой армии, в том же отряде, в котором служили я и Костя. После эвакуации о. Дамиан попал в Болгарию, в Софию. Там он поступил в университет, на философско-богословские курсы, и окончил университет со степенью доктора. Невзирая на открывавшиеся перед ним широкие перспективы, так как его уже знали во многих странах по его работам, он поехал на Афон и остался там навсегда.

Приехав впервые на Афон, я случайно встретился с ним. О. Дамиан сразу узнал меня, а потом, после моего отъезда, завязалась между нами дружеская переписка, а время от времени, в мои редкие посещения Афона, теплые, радостные встречи.

Костя тоже был со мною на Афоне два раза, и о. Дамиан узнал и его тоже, несмотря на Костину бороду, как у Соловья-разбойника. Костя иногда беседовал с отцом Дамианом на философские темы, и о. Дамиан, как мне казалось, с удивленным вниманием слушал Костины излияния. Я как-то не придавал значения этим разговорам, думая, что о. Да-

миан слушает Костю просто из врожденной своей вежливости, но вот теперь, после моих разговоров с Костей о революциях, после дня, проведенного в Костиной „академии", я решил узнать мнение о. Дамиана о Костиной метаморфозе.

О. Дамиан предложил мне отведать его скромной пищи с несколькими рюмками вина, и за кофе я сказал ему о причине моего визита.

— Я слушаю тебя, — спокойно сказал монах.

Мне пришлось начать „с азов", с самого моего и Костиного детства и закончить мое повествование историей с битниками, романом с Людмилой и переменой Костиного мышления. Я добавил еще и рассказ о целом дне, проведенном в Костиной „академии". Повествование мое тянулось долго. О. Дамиан слушал меня спокойно, не останавливая моей речи никакими вопросами. Когда я закончил мой монолог, о. Дамиан спросил меня, чего же я жду от него, — оправдательного или обвинительного вердикта или пояснения Костиного поведения?

— Я просто хочу знать, о. Дамиан, Ваше мнение, во что может вылиться такая перемена в Костиной философии. По правде сказать, я боюсь за него. В его теперешнем состоянии он может натворить таких чудес, что рискует попасть за решетку дома для умалишенных.

Склонив голову на грудь, о. Дамиан молчал. Потом, выпрямившись, он ласково посмотрел на меня и начал:

— Ты знаешь Костю с детства, не так ли?

— Да, отец Дамиан.

— И ты думаешь, что Костя начал меняться под влиянием его греческой страстной натуры, из-за желания попозировать, показать тебе и всем окружающим, что он стал серьезным, мыслящим человеком?

— Отец Дамиан! Зная Костю с самого раииеро детства, зная все его выходки, зная, на что он способен, — мне просто не верится, что он всерьез переменился. Но если Костя действительно переменился, я боюсь, что эта перемена может окончиться печально, как для него, так и для меня. Поэтому я и пришел к вам за советом. Я хочу знать, как вы смотрите на все это, что вы думаете о Костином мышлении и что может случиться с ним? К чему могут привести все эти новые философии, новые социологические теории, вот что я хочу знать.

— Ты и Костя были под моей командой в Ледяном походе, не так ли? Ты должен помнить бой под Лежанкой.

— Бой помню, но участия в нем я не принимал. Вы послали меня квартирьером в правую кавалерийскую колонну, не то Гершельмана, не то Глазенапа, уж не помню.

— Да, это было так, — сказал о. Дамиан. — Костя остался при мне. Я хорошо помню этот ясный, холодный день. Мы лежали в цепи под ужасным огнем французских винтовок Гра. Редкими перебежками мы все же продвигались вперед. Вдруг один доброволец, лежавший почти рядом с Костей, был ранен навылет пулей Гра. Ты знаешь, что ранение этими громадными пулями навылет делало зияющую воронку в теле, и кровь у этого раненого хлынула ручьем. Ты также знаешь, что у нас даже бинтов

не было для перевязок. На моих глазах Костя, несмотря на густой обстрел, поднялся, подбежал к раненому, сбросил шинель, снял гимнастерку, стянул с себя нательную рубаху и, разорвав ее на клочки, этими „бинтами" перевязал раненого. Кровь кое-как остановилась, мы перебежали вперед, а к раненому уже подошла сестра милосердия, баронесса Энгельгардт, и сделала уже настоящими бинтами новую повязку. Человек был спасен. Его отправили в обоз. Ты помнишь этот случай?

— Нет, — сказал я, пораженный рассказом о. Дамиана. — Костя никогда не говорил мне об этой истории.

— Люди Костиного характера никогда не говорят о своих хороших поступках...

Я не знал, что сказать отцу Дамиану.

— Ты помнишь, когда ты был у меня на Афоне с Костей в последний раз? Когда он нанял мула с проводником, отправился в путешествие по всем монастырям и пропадал целых три дня? Ты знаешь, что он сделал во время этой отлучки?

— Нет.

— Он попал в один бедный русский монастырь со старыми, немощными монахами. В одной из келий лежал какой-то паломник, заболевший во время посещения Афона, и его приютили эти монахи, которые сами жили очень бедно, скудно. Человек этот был в прошлом полковником, командиром одного из блестящих сибирских стрелковых полков. Он храбро сражался на Западном фронте, был весь изранен и получил все боевые награды, вплоть до ордена св. Георгия и Золотого оружия.

Теперь он лежал больной, грязный, немытый, в грязном белье, в общем — в ужасном виде. Монахи были бы рады помочь ему, но сами они от старости и скудости питания еле-еле передвигались, кое-как работал в монастырском саду и огороде пропитания ради.

Увидев такую картину, Костя с его бешеной энергией сейчас же послал своего проводника, — кажется, в Кирию, где тот раздобыл белья, мыла, простынь, одеял и привез доктора. Конечно, даже и на Афоне деньги играют большую роль, — с печальной улыбкой добавил о. Дамиан.

— В монастыре Костя уже нагрел воды, нанял двух рабочих-греков, поднял больного полковника с постели. Костя сам помыл его, побрил и постриг. Врач-монах сделал свое дело, и полковника уже в приличном виде уложили в свежую, чистую постель. Костя оставил монахам приличную сумму денег для ухода за полковником на несколько лет вперед. И ты помнишь, когда он вернулся к нам, он ничего не рассказал нам о своей поездке. Обо всем происшедшем я узнал уже потом от других монахов. Он тебе ничего не рассказывал о полковнике? — спросил меня о. Дамиан.

— Нет, ничего, — сказал я.

— Вот видишь, Коля. И если ты еще к этому добавишь сцену спасения детей на гибнущей яхте в вашем городе, в далеком детстве, ты увидишь, что Костя — человек необыкновенный. От него всего можно ожидать, от падения в бездну низменных человеческих страстей до взлета на самые вершины христианского отношения к людям, к самому себе.

Его жизнь, как и твоя, с самого детства была весьма суровой, это — с точки зрения моей, человека, по рождению очень привилегированного в старой России. Костя с детства усвоил неправильный взгляд на жизнь, что правдой, христианской правдой, далеко не уйдешь в тех обстоятельствах, с которыми была сопряжена ваша жизнь. И вот он начал „ловчить", приспосабливаться к этой жизни, где „человек человеку волк", для того чтобы как-то выкарабкаться, стать независимым и потом уже помогать тем, кому была нужна помошь. Ведь ты знаешь, что для всякого рода „сдвигов", восстаний, революций и так далее нужны какие-то средства.

И как тебе известно, всякого рода революционеры не стеснялись в средствах для приобретения презренного металла, нужного для проведения их идей в жизнь. Костя прекрасно понимал трудности задачи приобретения капитала всякого рода опасными приемами, и он пошел по другому пути: он начал изучать все приемы коммерсантов, для того чтобы стать независимым в финансовом отношении человеком. А коммерция, Коля, дело, мягко выражаясь, не всегда чистоплотное. Вспомни нашу русскую поговорку: „не обманешь — не продашь". И вот Костя с его греческим азартом бросился изучать коммерцию, где-то, в глубине его души, противную его верованиям, возможно, и его убеждениям. Закусив удила, если можно так сказать, он пошел на сближения с противниками его убеждений, изучил все их приемы, набрал миллионы денег, но, увы, опьяненный успехом, он забыл свою основную идею, идею помощи человеку, обездоленному в жизни, в борьбе за кусок хлеба.

Встреча с сироткой-девочкой у какого-то магазина игрушек в Нью-Йорке и ее вопрос, обращенный к матери: „А почему мы бедные, мама?", и суровый удар за его первую любовь к Людмиле тоже сделали свое дело. Костя пришел в себя. Он начал думать о том, что надо сделать со всем тем, что происходило и еще происходит во всем свете.

Встреча с епископом, который был у него матросом, оставила любовь и свет в Костиной душе, хотя он и забыл временно об этом. Но потом образ этого замечательного человека восстал в Костиной памяти и еще больше укрепил его в желании как-то помочь, что-то сделать для русского человека. Этого епископа я знал лично . . .

— Вы знали его, отец Дамиан?

— Да. Он провел у нас, на Афоне, несколько месяцев, странствуя по всей Европе. Он рассказал мне о своем намерении вернуться в Россию. Я . . . — тут о. Дамиан, казалось, немного сконфузился, — не верил в целесообразность этого намерения. Епископ уехал с Афона. И когда Костя доставил его в Болгарию, он уже оттуда написал мне, что возвращается в Россию. Обещал писать мне, но с оказией. Оказии эти бывали редкими, но все же бывали . . .

— А что случилось потом с епископом? — спросил я.

— Он умер спокойно, у людей, приютивших его. Но до самой смерти он колесил по всей России. Поднимал начинающую исчезать веру, крестил и даже венчал верующих у них на дому. Говорят, что от него исходило какое-то внутреннее сияние. Оно так

влияло на окружающих, что даже сталинские чекисты отпускали его с миром . . .

— А как Вы узнали о его смерти, отец Дамиан?

— Да ведь к нам на Афон приезжают на год — два советские монахи. Они и рассказали мне о смерти этого подвижника. Этот епископ разгадал Костю как никто другой. Поэтому было и его напутственное слово, и сундучок с книгами. Знал этот чудесный человек, что Костя заинтересуется творениями великих мыслителей, прочтет оставленные ему сокровища, много, возможно, и не поймет, но будет искать людей, которые помогут ему разобраться во всей этой премудрости. Отсюда и Костина „академия", — мягко улыбнулся о. Дамиан.

Старички-профессора правильно учли желание Кости изучать философию. Но они прекрасно понимали и всю трудность этой гигантской задачи — переплыть безбрежный океан этой науки в короткий срок — и только расставили ему, так сказать, вехи на пути к познанию. Они объяснили ему значение каждой из вех, и Костя со своим быстро схватывающим греческим мозгом понял основы этой науки. Он понял также и свое отношение к Великой Силе и Ее отношение к человеку, Ею же порожденному.

И Костя начал еще глубже понимать, что все человечество зашло в тупик материализма и что нужно из этого тупика как-то выбираться.

Отправной точкой для своей деятельности в этом направлении он взял Россию и русский народ. Старички-профессора незаметно для Кости провели идею русского православия, так разнящегося от всех религиозных философий мира. Вот отсюда и Костин

интерес к истории России, к русскому православию и к юдоли людей, по-русски веровавших и еще верующих во Христа.

Костя — не Робин Гуд, как ты и думал. Он и не наш пресловутый Кудеяр, который пошел в монастырь под именем Питирима замаливать свои грехи и беззакония, выгораживая таким образом самого себя из возможно грядущей беды и ответа за его прошлую жизнь. Такого рода подвижничество для личного спасения — не такое уж трудное дело, и Костя пошел дальше. Он не думает о своем спасении, а думает о своих ближних, думает, как улучшить их материальную, а потом и духовную жизнь.

Задача эта огромна, и не по плечу одному Косте. Но все же, благодаря его настойчивости, он делает кое-какие шаги в этом направлении, и я верю в успех Костиных начинаний...

— Каких начинаний? — спросил я, удивленный последними словами о. Дамиана.

— О них ты узнаешь позже. А теперь — извини меня. Скоро будет шесть часов вечера по вашему времени, а по-нашему, по-афонски, это двенадцать часов ночи. Ворота монастыря будут закрыты, монахи должны ложиться спать. В час ночи, по-вашему, начнется благовест к обедне. Она будет идти до восьми часов утра. Мне нужно отдохнуть. Иди с Богом! Передай мое одобрение Косте в его начинаниях.

— Каких начинаниях? — переспросил я.

— Узнаешь после, а пока передай ему мое благословение, — и о. Дамиан благословил меня и расцеловал.

Я пошел к пристани. Там, поднявшись на „Грозу морей", я отдал концы и приказал поставить все паруса. Под крутым северо-восточным ветром яхточка птицей понеслась в Пирей. Я горел желанием узнать секрет отношения о. Дамиана к Косте и потому так торопился вернуться в Пирей.

Мы подходили к южной оконечности полуострова. И опять на большой высоте я увидел тот же большой крест. Он был освещен последними лучами огненно-красного, идущего на покой солнца. Ветер все время крепчал, волны яростно обрушивались на корму „Грозы морей", но я был спокоен и не боялся надвигающегося шторма. Я был под охраной креста, указывавшего мне курс на Пирей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СЮРПРИЗ

„Что ты спрятал — потеряешь,
Что ты отдал — то твое".

Шота Руставели,
грузинский поэт.

„Гроза морей" попала в настоящий шторм! И только под одним парусом (кливером) я вошел в Пирей и стал на обычное место.

Сейчас же я поехал в Кефиссию. Дом казался пустым. На мой вопрос, где хозяева, горничная сказала, что они в кабинете Кости. Пошел я туда. Постучавшись в дверь, я вошел и увидел не совсем обычную картину: Костя сидел за своим огромным письменным столом по одну его сторону, а наш главный бухгалтер — по другую. В углу Олимпиада вязала свой вечный чулок. Весь громадный стол Кости был завален счетоводными книгами нашей компании. Шел по-гречески оживленный деловой

разговор. Я был немного удивлен этой сценой: Костя в своем кабинете никогда делами не занимался.

— До завтра! — Костя кивнул головой бухгалтеру. Посмотрев на мою обоженную солнцем, опаленную ветром и морской водой физиономию, он покачал головой.

— Куда тебя опять нелегкая носила? — спросил он.

— Я был на Афоне. Повидался там с о. Дамианом. На обратном пути в Пирей попал в шторм. Немного задержался, но все обошлось благополучно, ни аварий, ни поломок. Судно в полном порядке.

— В порядке или не в порядке, а „Грозу морей" нужно ставить в сухой док для капитального ремонта.

Я молчал. Ремонт — так ремонт.

— Как о. Дамиан? — спросил Костя.

— Да ничего. Выглядит по-прежнему, и голова такая же ясная, как и прежде, перемен нет. Он посылает тебе свое благословение и пожелания успеха в каких-то твоих начинаниях. А каких, — я не знаю.

— О моих начинаниях узнаешь сегодня за ужином, — сказал кратко Костя.

Пожав плечами, я пошел к себе привести себя в порядок, продолжая строить разные догадки о новом трюке, который может выкинуть Костя. Но если он захочет, чтобы я поступил в его „академию", так это — дудки! Одного „философа" в семье вполне достаточно.

Поужинали мы втроем и потом перешли в кабинет Кости. Я удивился тому, что Костя пригласил туда и Олимпиаду, которой вход в кабинет был вообще запрещен. Нам были поданы кофе и коньяк и любимые Костины гаванские сигары.

Глядя на меня в упор, Костя спросил:

— Ты знаешь, почему здесь был бухгалтер со всеми книгами нашей компании?

— Нет, не знаю.

— В таком случае ставлю тебя в известность устно, без письменного отношения к тебе, о том, что по решению большинства держателей акций пароходной компании „К. А. Попандопуло", то есть моему, Олимпиады и Николаки, все акции нашего дела переходят в руки людей, работающих у нас. Имея минимум работы в нашем деле в один год, наши сотрудники получают пропорционально их знаниям и стажу известное количество акций. Так образуется русская артель, в которой каждый работник имеет какую-то, пусть маленькую, но все же часть в общем деле. Ты на это согласен?

— Согласен, — сказал я.

— Но тебя не удивило то, что я ставлю „Грозу морей" в капитальный ремонт?

— Раньше — нет, а теперь заинтересовался, почему это?

— Да потому, что Олимпиада хочет перед смертью повидать свой родной город Одессу, а потом пойти посмотреть на один порт, где родились и выросли два человека, отравлявшие, по ее убеждению, всю ее жизнь. Название порта — Танаис, или по-гречес-

ки, Таганис — Таганрог. А двое типов? Это я, ее собственный муж, и ты, Николай Иванович, мой друг и брат. Другими словами, — мы втроем на „Грозе морей" идем в Россию, в Черное и Азовское моря. Теперь тебе понятно, почему я ставлю „Грозу морей" в капитальный ремонт?

— Понятно-то понятно, но мне ясно также и то, что ты сошел с ума. А непонятно мне только то, как Олимпиада, умная и осторожная женщина, решилась пойти на эту авантюру.

— Поцему непонятно, Коля? Я хоцу посмотреть на мой город — красавицу Одессу, где я родилась, уцилась, откуда усла за границу есче молодой девуской. А потом я — грецеская и американская подданная. Идем мы в Россию под американским флагом, цего там бояться, не понимаю, — закончила свою тираду Олимпиада.

Олимпиада так никогда и не научилась выговаривать русские шипящие звуки и всегда сюсюкала и шепелявила, как это делают почти все греки.

— Поймешь, когда тебя, „грецанку", в Одессе снимут с яхты и нас, американцев, потащат в Чека для допроса. Тогда что? Разве ты не знаешь, что мы с Костей белогвардейцы в прошлом? А это советская власть принимает в расчет... Поздно уже нам лыжному спорту учиться.

— Поцему лыжному спорту?

— Да потому, что нам могут сказать советское „добро пожаловать" лет этак на десять в Заполярье, а там главный вид транспорта — лыжи, вот почему. Да и тебе, женщине, идти в такой дальний рейс на

небольшой яхточке тоже не будет очень удобно после роскоши Кефиссии.

— Я ей построю двойную койку, вот и вся недолга, — вмешался Костя.

— Сам строй себе двойную койку! — обиделась Олимпиада на намек мужа относительно ее фигуры бегемота (женщина всегда остается женщиной, даже в возрасте Олимпиады и с ее полнотой). — Тозе Аполлон у меня насеслся...

Костя только улыбнулся.

— Удобно или неудобно, но я хоцу в Одессу, — упрямо настаивала Олимпиада. — Зить узе осталось мало, а смерти я не боюсь, да и не верю, цто в России нас могут озидать какие-нибудь неприятности. Мы идем туда туристами. Визы полуцены на три месяца, указаны города, куда мы едем. Только вот вас знаменитый Таганрог засекрецен и туда нас не пускают. Иди завтра в советское консульство и проси визу.

— Кто же из вас обоих придумал эту восхитительную поездку, ты или Костя?

— Костя.

— Не знал я раньше, что психопатия заразительна.

— Почему? Кто тут психопат? — спокойно спросил меня Костя.

— Конечно, ты, а не я, — возмутился я. — Ведь нужно же было додуматься до рейса в Россию! Я уверен, что ты сошел с ума.

— Хорошо. Я сошел с ума, потому что хочу навестить мою родину! Решил, и вот так — раз, два

и отдал концы! Нет, брат ты мой, над этим вопросом я поработал не мало. И хотя я уже не тот Костя Попандопуло, каким был раньше, мозги мои все же еще в порядке. Ты знаешь, что у меня есть связи повсюду, и я точно выяснил, что поездка в Россию нам не страшна. Никакой опасности нет.

— Да за каким дьяволом ты хочешь туда ехать?

— Ты, Николай, думаешь, что вот эти последние пять лет я работал над собой даром? Что на меня опять нашла блажь попозировать, как я делал это раньше, в кафе Зонта? Нет, тут дело было посерьезнее. Я все время изучал, анализировал и западный, и советский строй, и пришел к заключению, что обе эти системы, капиталистическая и марксисткая, устарели, для того чтобы руководить миром.

Но эти две диаметрально противоположные системы идут на какое-то сближение, и вполне возможно, что образуется какая-то новая, третья система, которая и наведет порядок во всем мире.

— Почему ты думаешь, что это может случиться, Костя?

— Да потому, что Запад левеет, а Восток правеет, и эти два мира в недалеком будущем сойдутся. Другого выхода нет, я это знаю. Будет много перемен, и там, и здесь, и в процессе этих перемен положение России будет особенно острым. И чтобы избежать возможных неприятностей, Россия должна стать национальной. Возвышению национального духа помогает русское православие, никогда не умиравшее в душе русского народа. Московские заправилы понимают это и не мешают росту национализма. На православие, для вида, они продолжают смотреть косо,

но это только для вида. Они прекрасно понимают, что в России национально-духовной дело всего мира будет обеспечено всему миру.

— И „свет придет с Востока", как говорил дядя Миша?

— Поэтому я и хочу поехать в Россию, выяснить на месте положение вещей. И пусть в малой мере, но как-то все же помочь сближению Америки и России, этих двух таких близких по духу народов, для тог чтобы сделать жизнь всего человечества мирной и счастливой...

— Слушай, Костя, ты это говоришь серьезно?

— Вполне серьезно.

— Тогда кто-то из нас сумасшедший, и я уверен, что это ты сошел с ума! Ты несешь какую-то чепуху о России, об Америке, хочешь помочь сближению и дружбе этих двух народов и вот теперь даже хочешь поехать в СССР. Но я уверен, что там ты попадешь в неприятную историю и в лучшем случае тебя попросят убраться оттуда подобру-поздорову и никогда не показывать туда твоего длинного греческого носа.

Поездку эту я считаю опасной, вздорной, а главное — никому не нужной. Поэтому я отказываюсь ехать с тобой в Россию на эту авантюру и остаюсь здесь. Оно, может быть, и лучше: если ты попадешь там в беду, то отсюда мне будет легче тебя выручить. Если же мы попадем в скандал все втроем, то кто нас будет выручать? Харлашка? Да он будет только рад нашему несчастью, а не то и смерти, чтобы захватить все наше дело в свои руки и жить, как он привык жить. Повторяю, я остаюсь в Греции

и буду ожидать твоего и Олимпиады возвращения домой. Понял?

Костя долго молчал. Потом подошел ко мне и, взяв меня за руку, сказал:

— Возможно, что ты прав. Оставайся здесь. Но если мы благополучно вернемся домой, то тогда ты не отвертишься от поездки в Россию. Я уверен, что все будет хорошо. А теперь — спать.

Мы разошлись по своим комнатам.



После двухнедельного ремонта яхта была готова к походу. По непонятным мне причинам Костя телеграфировал всем капитанам наших судов и многочисленным родственникам быть в Афинах к такому-то числу. На мои вопросы, в чем тут дело, Костя ласково и загадочно улыбался и говорил:

— Потом узнаешь!

Настал этот торжественный день. Все приглашенные были аккуратно в назначенный срок размещены по гостиницам с приказом быть в таком-то часу в громадном банкетном зале самого дорогого отеля в Афинах. По-прежнему ничего не понимающий, поехал и я с Костей и Олимпиадой из Кефиссии в город. Мы вошли в зал встреченные дружными аплодисментами почти сотни людей, сидевших по четыре человека за отдельными столиками. Мы с Костей и Олимпиадой сели за председательский, очевидно, стол. Костя встал, попросил внимания и произнес короткую речь, признаюсь, приятно ошеломившую меня.

В своей речи Костя объявил собравшимся, что пароходная компания „К. Попандопуло" разрослась до таких больших размеров, что управлять ею становится все труднее и труднее. Мы уже старики, говорил он, и не можем уделять делу столько энергии, как это было раньше. Но как и в каждом деле, трудно найти служащих, которые относились бы к делу подлинно по-хозяйски. А свой, хозяйский глаз нужен в каждом деле, без него не проживешь. Но где же найти такое количество хозяев для ведения такого большого дела, как наша компания?

— Очень просто! — улыбаясь, сказал Костя. — Все люди, работавшие и работающие в нашей компании, помимо их жалованья, получат еще и акции нашего, уже общего дела. Так что каждый наш служащий является теперь, пусть в маленькой доле, но все же хозяином этого дела. Минимум срока работы для получения акций ново-поступившему человеку — один год. Все служащие получают определенное количество акций пропорционально времени работы в нашей компании. Председателем нового акционерного общества назначается пожизненно мой внук, Николай Попандопуло.

Под гром аплодисментов Костя сел на свое место, и начался пышный греческий обед. Менялись блюда, шампанское лилось рекой. И, конечно, от избытка чувств просвещенные эллины били посуду во всю ивановскую. Произносились речи, потом начали „качать" и Костю и меня, но побоялись все же поднять даже в кресле громадную тушу Олимпиады. Все пьяные, бесконечно довольные, начали расходиться по домам. Мрачными были только Харлашка и его супруга Аспазия, прилетевшие из далекой Арубы.

Вопрос о контроле дела, даже после нашей смерти, был сегодня решен раз и навсегда.

Втроем мы поехали домой. По дороге Костя с ласковым видом спросил меня:

— Не ожидал ты такого оборота дела, старик, а?

— По правде сказать, Костя, да, не ожидал. Но что побудило тебя пойти на такое дело?

— Эту идею подала мне Олимпиада, ты знаешь ее сердце. А кроме того, я прикинул, сколько наша компания платит разных налогов. И кому и на что идут эти налоги? Больше расходятся по карманам разных политиканов, да на войны и еще в игорные притоны французской Ривьеры. Вот я и решил создать наш собственный кооператив, где члены общества на своих собраниях сами устанавливают свое жалованье. Понял? Жалованье снимается с прибыли, как расход, и это законно. Не придерешься. Разные правительства свободного Запада налогами обанкротили свои страны, и дело доходит уже до национализации крупных предприятий. А так — мы устроили нашу артель, которой сам черт не страшен. Даже если случится революция, мы — „артель тружеников моря" и никаких гвоздей! Дошло до твоего мозга мое пояснение или нет?

— Пояснение-то дошло, да я не хочу, чтобы ты дошел до тюрьмы за твои остроумные проделки...

— До тюрьмы всякий дурак дойти может, а вот кто сидеть в ней будет, это вопрос открытый. Только не я и не ты. Для нас тюрьмы еще не построены.

Мы приехали домой.

КУРС: ВОСТОК

Через неделю „Гроза морей”, нагруженная до отказа всякого рода вещами и провиантом, была готова к отходу. Собралась вся родня и служащие нашей компании. Отслужили молебен Николаю Угоднику, покровителю всех, в морях странствующих. Костя сам стал у руля и приказал отдать концы. Мотором „Гроза морей” вышла из пирейской гавани, подняла паруса и курсом на юго-восток помчалась в ту страну, откуда по уверениям дяди Миши должен был прийти свет всему миру.

Настроение мое было отвратительным, а чувства смешанными. Я испытывал даже как будто стыд за то, что не пошел с Костей взглянуть на страну, где мы впервые увидели свет, а потом, может быть, и умереть там.

Целую неделю я размышлял об уходе Кости. Были даже угрызения совести за мое малодушие, была и грусть, которая бывает часто у стариков, разлучающихся даже на короткое время со своими близкими. Но вдруг в голову мне пришла мысль: а не устроил ли хитроумный таганрогский Одиссей какого-нибудь своего очередного трюка? Костя изменился, да, и в хорошую сторону, это верно. Он помогал и готов помочь кому угодно и как угодно. Но то, что Костя очень быстро и легко согласился, чтобы я оставался в Греции, было подозрительным. Третья долгая разлука за пятьдесят лет. Тут что-то было не так. Английская пословица говорит: леопард никогда не меняет пятен на своей шкуре, даже если бы он перестал быть кровожадным хищником и, по примеру Л. Толстого, сделался вегетарианцем. Так и Ко-

стя, который всегда знал, что он делает. И хотя он и прошел курс своей философской „академии", в Сократа, Платона или Диогена он не превратился. В голове у него созрел, очевидно, некий план, а вот какой?

Разъяснить все дело должен был приезд Кости, а до тех пор надо было ждать.

ВСТРЕЧА С ЛЮДМИЛОЙ

Очень остро переживал я отъезд Кости с Олимпиадой в Россию и все время беспокоился о них. Жить одному в громадном доме было мне не под силу, и я решил рассеять мои мрачные мысли и опасения за судьбу дорогих мне людей поездкой на остров Миконос, в Цикладском архипелаге, и побывать, может быть, в последний раз на острове Делос, находящемся почти рядом с островом Миконос. Делос с его знаменитым храмом, посвященным Аполлону, считался в древности центром вселенной. Впоследствии храм этот был разрушен царем Митридатом.

Значение Делоса было настолько велико, что население Афин снаряжало раз в год корабль, нагруженный жертвоприношениями Аполлону Делоса в благодарность за его помощь афинскому герою Тезею избавиться от тирана Крита, требовавшего присылать ему каждый год цвет афинского юношества, которым он кормил своих кровожадных минотавров. По уходе корабля из Афин в Делос в Афинах объявлялся национальный праздник, во время которого и до возвращения корабля в Пирей отменялись даже казни преступников.

Такая отсрочка была представлена и приговоренному к смертной казни великому Сократу. Возвра-

щение корабля было задержано сильным штормом на целый месяц, что позволило Платону, ученику Сократа, записать для потомства бессмертные диалоги Сократа, ожидавшего в тюрьме жестокой и несправедливой казни.

После разрушения Делоса „огнем и мечом" царем Митридатом значение этого острова сильно уменьшилось, но слава его расцвета не угасла и по сей день.

Теперь на Делосе есть очень хороший музей, сохранилось много памятников древней скульптуры, уцелели остатки амфитеатра да несколько домиков, но счастливцы, посетившие Делос, хранят память о нем на всю жизнь.

Я провел на Делосе целый день, а вечером маленьким рыбачьим суденышком ушел на Миконос.

Этот остров намного больше Делоса и красивее его. Миконос горист и по склонам его гор расположен город — „столица" острова. Население острова — главным образом рыбаки, и надо сказать, что рыбная ловля в водах Цикладского архипелага вследствие частых бурь дело довольно опасное. И вот, если рыбак чудом избежал когда-нибудь неминуемой гибели, то он из последних средств строит маленькую церквушку в благодарность Великой Силе, спасшей его от верной смерти. Если рыбаки погибают, семьи погибших тоже воздвигают сообща церковь как бы для поминовения ушедших в другой мир.

На острове много конических ветряных мельниц с удивительно красивыми треугольными парусами. Дома и домики „столицы" расположенные правильно, по плану, приятно поражают своей индивидуаль-

ностью. Нет шаблона, такого присущего нашему веку технологии и прогресса.

Каменные стены церквей, домиков и мельниц окрашены в блестящий белый цвет, а купола церквей и крыши домов — в глубоко-синий цвет волн Эгейского моря.

Красив Миконос днем, но ночью он еще красивее. Освещенный лунным сиянием, с отчетливо видной белой и даже синей окраской домиков, расположенных то вверху, то внизу, Миконос напоминает причудливостью форм и окраски работу англичанина Веджвуда. Впечатление от Миконоса ночью феерическое, никогда не забывающееся.

Сразу же после окончания второй мировой войны, когда европейские сообщения были налажены, Миконос стал излюбленным местопребыванием приезжавшей сюда на отдых французской богемы, но богемы серьезной и работавшей. Бывало здесь и несколько англичан и американцев, и все туристы жили тихой, недорогой жизнью, купались в не загрязненном еще Эгейском море, отдыхали от жизни больших, отравленных „прогрессом" городов, набирались сил и возвращались домой, ожидая с нетерпением момента, когда они снова попадут на Миконос. Так было раньше. Но потом все изменилось. В один-два года было выстроено несколько „шикарных" отелей, приезжает совершенно иная публика, жизнь стала менее патриархальной, но все же Миконос по-прежнему прекрасен.

Я остановился в небольшом хорошем отеле. После ужина я вышел на длинную веранду отеля, улегся в длинное, глубокое кресло и любовался Миконосом, морем и подымавшейся луной.

Царила мягкая тишина. Но даже в этой сказачной обстановке мысли о Косте и Олимпиаде не покидали меня.

Погруженный в свои мысли я не заметил, как на веранду вошла дама в сопровождении двух совсем молодых девушек. Все они расположились за круглым столиком вдали, направо от меня.

В наступившей на какой-то момент тишине до меня вдруг донесся их разговор на французском языке, а потом я уловил несколько русских фраз, причем голос говорившей дамы показался мне странно знакомым. Вспомнить, где я уже слышал этот голос, я не мог. Разговор за их столиком между тем продолжался уже исключительно по-русски.

Заинтригованный русской речью, я встал и медленно пошел по тому направлению, где сидела дама с ее молодыми спутницами. Поравнявшись с их столиком, я вдруг услышал радостный возглас:

— Николай!!!

Я повернулся, внимательно посмотрел на даму, пристально глядевшую на меня, и узнал в ней... Людмилу!

Людмила быстро встала, подошла ко мне вплотную и тихо спросила:

— Где Костя?

Ошеломленный и этой встречей и ее вопросом, я молчал. Тогда Людмила, быстро овладев собой, пригласила меня к столику, познакомила с обеими девушками, почти барышнями, своими дочерьми, и потом, после того как мы обменялись несколькими ни-

чего не значащими фразами, обратилась к дочерям, к моему большому удивлению, по-португальски, сказав, что им уже пора идти спать. Попрощавшись со мной девушки ушли к себе в комнату: Людмила остановилась в этом же отеле. Мы остались вдвоем.

Видимо, по-настоящему волнуясь, Людмила задала мне тот же вопрос:

— Где Костя? — и продолжала:

— Жив ли он? Здоров ли?

Повинуясь голосу какой-то предосторожности, я медленно проговорил:

— Прежде чем ответить на ваши вопросы, Людмила, я должен спросить вас в свою очередь, почему вы оказались здесь, на Миконос? Где ваш драгоценный муженек Аринаки? И откуда такое трогательное участие в судьбе Кости?

По-моему, у вас все было кончено, предано забвению. И как могло случиться, что, живя в Афинах, вы не знали, где Костя, что с ним делается? Ведь на фоне афинской жизни Костя не такая уж маленькая фигура, чтобы хоть краем уха не услышать о нем. Я ничего не понимаю... Ответьте на мои вопросы, тогда я отвечу на ваши. Я вас слушаю...

— Во-первых, я живу в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, а не в Афинах, — отвечала Людмила. — У Аринаки, кроме пароходных дел, там есть еще масса других предприятий. В Европе мы бываем очень редко, поэтому я не могла ничего знать и слышать о Косте. Во-вторых, в Грецию мы приехали по делам Аринаки всего лишь несколько дней тому назад, а на Миконос он отправил меня заранее, так как он тоже должен приехать сюда по своим делам.

— Что ему делать здесь, на Миконосе? — перебил я Людмилу.

— Здесь живет одна очень богатая греческая семья, выехавшая из России еще до революции, а свои капиталы они отправили заграницу еще до своего отъезда. С собой они привезли сюда громадную коллекцию ювелирных изделий Фаберже *) и никому ни одной вещи еще не продали, да и продавать не собираются. За какую-то крупную услугу, которую оказал им Аринаки, он надеется уломать их и уговорить продать для меня и моих девочек несколько побрякушек...

— Для вас?

— Да, для меня. Ведь он безумно любит меня и готов сделать все, что бы ни пришло мне в голову.

— Значит вы счастливы с Аринаки?

— Нет. Я глубоко презираю моего мужа за все его жульнические проделки, а потом... — Людмила сделала маленькую паузу и продолжала: — и еще за то, что он рассказал мне, впрочем, правду о Костиной семейной жизни. Кроме того, и за многие другие непривлекательные стороны его характера. Все это вместе взятое совершенно оттолкнуло меня от него. Холодна я с ним, как лед. Поэтому у нас нет и не может быть детей, о которых он страстно мечтает.

— Это же почему? — вырвалось у меня.

Людмила опустила голову. Немного помолчав, она тихо сказала:

---

*) Это правда.

— Это потому, что я любила, люблю и всегда буду любить только одного человека до конца дней моих...

— Кто же этот счастливец? — с иронией спросил я.

— Костя... — тихо, с глубокой грустью в голосе произнесла Людмила.

Совершенно ошеломленный, я буквально подпрыгнул на моем кресле. Несколько секунд прошло в полном молчании. Не зная, что сказать, ни что сделать, я нажал на кнопку звонка и попросил пришедшего официанта принести мне коньяку со льдом.

— Вы это всерьез сказали, Людмила, или так... для красного словца избалованной женщины, желающий произвести впечатление? — прервал я, наконец, молчание.

Людмила вздоргнула. Голосом, дрожащим от волнения, она начала:

— Николай! Костя всегда говорил мне, что вы — человек не от мира сего, витающий в каких-то только вам одному известных сферах, ничего, кроме книг, не признающий... Человек, возможно, знающий анатомию женщины, но никогда не поинтересовавшийся узнать духовную сторону, и, я бы сказала, даже величие любви женщины...

— Да, — сказал я с иронией, — мне знакомо величие женской любви хотя бы по вашему поступку с Костей. В один вечер все было порвано, а через неделю вы вышли замуж за какого-то подозрительного типа, с которым даже Костя не желал иметь ничего общего.

— Да, Николай, — в один вечер, как вы говорите, у меня по наветам Аринаки все было кончено

с Костей, но почему? Поймите меня, я ведь глубоко любила Костю со всеми его светлыми и темными, которых у него, впрочем, было немного, качествами. О том, как глубоко я его любила, Костя не знал, может быть. Я безгранично верила ему во всем и была уверена, что несмотря на разницу наших лет — Костя мой навсегда.

Не забывайте, Николай, ни склада моего характера, ни моего темперамента. Эти особенности контролировать довольно трудно. В моих жилах течет кровь и сибиряков, и французов, а родилась я в Китае. Я — женщина Востока, и это тоже играет большую роль.

Я до сих пор переживаю те дни безмятежного счастья, когда бабушка ушла в монастырь, дети были определены в хороший пансион в Париже, где я навещала их каждую неделю, а я была уже хозяйкой магазина; когда я закрывала магазин вечером, я сломя голову мчалась на свидание с Костей по традиции — у церкви св. Маделен, где было наше первое свидание. Спеша мы шли в скромный ресторан, съедали незамысловатый ужин, а потом шли к Косте в его студию, которую он отделал, как игрушку.

Горел камин, за окном крупными хлопьями падал мягкий парижский снег, я сворачивалась „калачиком" на тахте и смотрела, как Костя, в своем вечном берете на голове, всегда что-то лепил. Он рассказывал мне о своих похождениях, о вас, Николай, он вас, между прочим, нежно любит, о ваших детских проделках, о плаваниях, штормах, ураганах, иногда о ваших морских романах по всему миру.

Иногда он, огромный, кряжистый, мускулистый старик, брал меня на руки и укачивал, как ребенка.

И тогда я чувствовала себя, как лермонтовская тучка, ночевавшая на груди утеса-великана, но с той разницей, что мне — „тучке" вовсе не хотелось умчаться утром рано, а, наоборот, хотелось навсегда, на всю жизнь остаться так вот прижатой к его мощной груди.

Боялась я также и того, чтобы этот утес-великан не был унесен от меня каким-нибудь землетрясением и я не осталась бы снова одной во всем мире.

Вот поэтому я и начала вести разговоры о браке, приводя самые различные доводы о его необходимости.

Но Костя всегда уклонялся от прямого ответа. Если бы он прямо и честно рассказал мне правду о своем семейном положении, я бы поняла его и все между нами оставалось бы по-прежнему.

Как женщина Востока, я поняла бы, что если нет возможности обладать своим любимым всецело, полностью, то, значит, нужно удовлетвориться только той частью его жизни, которую он может уделить мне. Костя же скрывал от меня правду о себе, я это чувствовала, и это наводило меня временами на разные размышления.

А тут еще эта проклятая встреча с Аринаки открыла мне глаза, и я, гордая сибирячка, ушла от Кости... раз и навсегда, как мне казалось тогда. А как темпераментная француженка я скоропалительно, очертя голову, согласилась выйти замуж за Аринаки.

И все это случилось только потому, что я не знала о великой любви Кости ко мне. Я не знала ничего о его семейном положении, я не знала, что он пере-

живал после моего ухода... О если бы я только знала!

И по лицу Людмилы, освещенному кремовым сиянием луны Цикладских островов, тихо текли самые неподдельные бисерные слезы.

— Да, — продолжала Людмила. — Я бросила Костю. Все было порвано с ним, но разрыв продолжался одну только неделю. А потом я снова сильно и глубоко полюбила Костю и буду любить его до моего последнего вздоха...

— Ничего не понимаю, — сказал я. — Почему такая беззаветная любовь снова к Косте и когда именно она началась?

— Через день после моей свадьбы с Аринаки. За два дня до отлета в Африку я ожидала Аринаки в кафе на Елисейских Полях, где ко мне подошел, как всегда немного пьяный, скульптор — учитель Кости. Он рассказал мне все. И о Костиных страданиях после моего разрыва с ним и после моей свадьбы с Аринаки, и о том, как он вылепил голову Христа, и о его бредовых воспоминаниях обо мне. Тогда только я поняла, какая нежная и благородная душа была у Кости, этого пирата, картежника и бабника, как его характеризовал Аринаки.

Мне стало тогда ясно и понятно, что Костя не мог оставить свою семью раз и навсегда уже хотя бы из чувства благодарности к Олимпиаде, его жене, матери, бабушке и даже прабабушке его потомства, да еще и помогшей ему стать на ноги, когда он был бедняком.

И не мог он сказать мне, его последней любви, мне, для кого он сделал так много, что у него есть

семья, к которой он прикован, не мог потому, что боялся этим признанием оскорбить и потом потерять меня.

Только тогда я представила себе, каких усилий и мук стоила Косте эта двойная жизнь, моему Косте, теперь такому далекому от меня.

Мне даже не так важно теперь, что я, может быть, никогда не увижу Костю, мне важна моя любовь к нему, ведь я только ею и живу. Но я знаю, что если что-нибудь случится с Костей, если я буду ему нужна, — я брошу все, даже моих детей, и полечу к нему, где бы он ни был.

Людмила немного помолчала, раздумывая. Потом она продолжала:

— Говорят, что старики живут только своими воспоминаниями... Я еще не старуха, я живу в невиданной мною прежде роскоши, с мужем — рабом, исполняющим мою малейшую прихоть (он, между прочим, перевел все свои капиталы на мое имя), все у меня есть. Но удовлетворена ли я? Конечно, нет. Чем же я живу? Да вот только воспоминаниями. Вспоминаю первую встречу с Костей и с вами в магазине, где я устроила ему скандал из-за какой-то фуфайки. Помню наш скромный ужин с Костей в моей еще более скромной квартирке, прогулку с ним по берегу Сены. Потом наше сближение и любовь Кости... Любовь такую редкую в наше время. Костя обращался со мной, как с ребенком, он учил меня многому, чему научила его и вас, Николай, та великая школа жизни, которую вы с ним прошли. Я вспоминаю вечера и ночи в его студии с ласково греющим камином, падающим на улице снегом и едва доносяo-

щимся до нашей мансарды мягким шумом уличного движения.

Закрыв лицо руками, Людмила тихо плакала. Я молчал.

Немного успокоившись, она продолжала:

— Перед отъездом из Рио-де-Жанейро Аринаки повез меня в театр посмотреть пьесу, которую я никогда не видела. Называлась она „Трильби". Когда поднялся занавес, и я увидела на сцене парижскую студию художника-англичанина с натурщицей и гипнотизером Свенгали, студию, до боли в сердце напомнившую мне студию Кости в Париже, нервы мои не выдержали. Я разрыдалась и приказала мужу везти меня домой.

Слишком остро и внезапно вспыхнули воспоминания о прошлом, о днях самого настоящего моего счастья, о нашей с Костей любви . . . Эти воспоминания, эта моя любовь к Косте и поддерживают мою жизнь. Не будь этого, я не думаю, чтобы я оставалась в живых . . .

Я не думаю, не мечтаю даже о встрече с Костей. Такая встреча может оказаться роковой для меня и в особенности для него.

Но если вы, Николай, когда-нибудь найдете Костю одиноким, старым, никому не нужным, — то пошлите мне телеграмму. Я брошу все и приеду к нему. Вот вам мой адрес. И еще: ничего не говорите, пожалуйста, Косте о нашей встрече . . .

Вдруг спохватившись, Людмила с тревогой спросила меня:

— Где он сейчас? Здесь, на Миконосе?

Мне пришлось рассказать о поездке Кости в Россию.

— Хорошо! — облегченно вздохнула Людмила. — Но я опять беру с вас слово, Николай, что Костя никогда не узнает о нашей встрече. А когда, по-вашему, я буду ему нужна, — вы знаете теперь, что нужно будет сделать... Послезавтра здесь появится Аринаки...

— В таком случае я уезжаю завтра в Афины, — заверил я Людмилу. — Не хочу устраивать ему скандала.

— Да, так будет лучше, по-моему, — одобрила мое намерение Людмила и продолжала:

— Теперь я ухожу. Не думаю, чтобы я увидела вас завтра до отъезда, поэтому скажу вам сейчас, что я не знаю, как благодарить судьбу за встречу с вами. Если будет у вас желание, — черкните мне иногда несколько строчек. А теперь...

Людмиа обняла и расцеловала меня:

— Пора и спать и во сне ожидать второй встречи с вами и с Костей. Хотя бы и во сне, но хотелось бы все же знать, где? и когда? Ну да, судьба укажет.

Быстро повернувшись, Людмила ушла.

Я сидел на веранде до утра — пил коньяк и раз мышлял о незнакомом мне чувстве великой женской любви.

Утром я пароходом ушел в Пирей.

❦

Через какое-то время начали приходить короткие, мало говорившие письма. Из них было видно, что Костя побывал в Одессе, ушел потом в Севастополь, затем улетел оттуда в Москву, Ленинград и куда-то на север. Потом — Ростов Великий, Новгород и другие старинные города. Отовсюду он слал открытки, а что он там делал, он не сообщал. Затем он вернулся в Москву, пробыл там две недели и телерам-мой сообщил, что через пятнадцать-двадцать дней надеется прибыть в Пирей.

Прошло еще несколько дней, и я получил телеграмму из Истанбула, чтобы я ожидал „Грозу морей" через три дня в Пирее.

Ранним утром я уже был на пристани и в бинокль жадно рассматривал горизонт, где вдруг показалась маленькая точка. Она начала увеличиваться и наконец я увидел „Грозу морей", под всеми парусами летевшую к себе домой.

Через два часа яхта была ошвартована. Я прыгнул на палубу, расцеловался с заметно похудевшей и даже похорошевшей Олимпиадой, затем обнял Костю. Костя тоже казался помолодевшим, быстрым в движениях, с каким-то задорно-юношеским выражением в глазах. На все мои вопросы он отвечал невпопад и лишь бросил короткое:

— Расскажу все дома.

Машиной мы помчались в Кефиссию.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТАГАНРОГСКИЙ ОДИССЕЙ

В кабинете Кости, под неизменный греческий кофе, розовое варенье и холодную воду, Костя начал свой рассказ:

— Дарданеллы мы прошли благополучно, но в Мраморном море попали в сильный шторм. На третий день добрались до Истамбула, прошли Босфор и стали на якорь у входа в Черное море. На яхту прибыли таможенные власти. Произвели тщательный осмотр судна и бумаг, но не придирались. Помог, очевидно, американский флаг корабля. После осмотра сразу разрешили идти в Черное море, что я и сделал. В Черном море опять попали в шторм, но через три дня мы вошли в Одессу.

Трудно описать мои переживания, когда я увидел этот поразительно красивый город, красивый, несмотря на пережитые в войну ужасы, город-герой, теперь уже американизированный постройкой новых больших моногоэтажных домов.

При входе в порт к яхте подошел катер и приказал следовать за ним, указав место стоянки непо-

далеку от Платоновского мола. Явились власти, попросили предъявить бумаги, сделали осмотр судна. Приняли приглашение Олимпиады выпить и закусить, записали фамилии и адреса ее родных, выдали пропуска, попросили ожидать машину с переводчиком, откланялись и ушли. Перед уходом объявили нам, что, как у всякого иностранного судна, на берегу у трапа будет стоять или таможенный, или милиционер.

Пришла машина, очевидно, из Интуриста, с молодой девушкой-переводчицей, от которой Олимпиада хотела отказаться, как урожденная одесситка, на закон есть закон, и мы поехали в город с переводчицей. И хорошо сделали, что согласились ехать с этой девушкой. Во время войны город сильно пострадал, было много разрушенных домов и даже целых кварталов. То, что можно было восстановить, восстановили, а особенно разрушенные места покрыли парками и бульварами, и Одесса, как говорят старожилы, стала еще красивее. Девушка-переводчица пригодилась еще, расшифровывая современные названия улиц, которые были известны Олимпиаде в ее детстве под другими названиями. Теперь все иное и все по-иному.

Мы все же разыскали каких-то дальних родственников Олимпиады, и мы были приглашены в их довольно скромную, но очень чистенькую квартиру. Олимпиада оделила всех родных заграничными подарками. Нам предложили чаю. Пошли осторожные разговоры, но ожидаемых жалоб на жизнь не было. Жаловались на войну и на то, как вели себя победители — румыны. После чая нас пригласили на другой день к обеду, и мы поехали опять смотреть город.

Несмотря на все ужасные военные разрушения, все разрушенное восстановили, и Одесса по-прежнему выглядит красавицей и блещет чистотой. Хотя одесситы изменились мало, но все же не напоминают старых одесситов. В их разговоре чувствуется какая-то сдержанность, даже, пожалуй, осторожность; видно, что народ еще помнит времена Сталина. Много туристов, и своих, и иностранных, и нам, как „знатным иностранцам", которыми ведает Интурист, было все доступно — и театры, и рестораны, и товары в специальных магазинах того же Интуриста. Не так обстоит дело с туземным населением: все одеты прилично и не бедно, но все же их одежда и обувь сильно разнятся от заграничных костюмов и обуви.

Я ходил и ездил по Одессе, как обалделый, лишь с трудом отдавая себе отчет в том, что я снова, после стольких лет, попал на родину.

На другой день мы обедали у родственников Олимпиады, которая опять засыпала их подарками. Вечером мы были в театре, а еще через день вышли в море.



Миновав грозный Тарханкут, „Гроза морей" вошла под парусами в Севастополь.

Так же как и при входе в Одессу, мне трудно описать мои чувства, владевшие мною при входе в Севастополь моей собственной яхтой. Сердце мое билось, как у юнца, идущего на первое свидание, в голове царила какая-то восторженная легкость, и я чувствовал, как слезы, проклятые стариковские слезы, катились по моему лицу. Я не старался прятать их под носовым платком . . .

Мы подняли карантинный флаг. К нам сейчас же подошел полувоенный катер, и на палубу яхты ловко прыгнули четыре человека, не то пограничники, не то милиционеры, не знаю. Увидев на клотике (верхушке) мачты наш Андреевский яхтенный флаг, меня спросили, почему судно под американским флагом, а на клотике — Андреевский. Я ответил, что, возможно, Андреевский флаг у них сейчас не в моде, но я когда-то плавал под этим флагом, а поэтому теперь это мой яхтенный флаг. Старший из прибывших довольно ласково посмотрел на меня и сказал, что да, Андреевский флаг у них сейчас не в моде, это верно, но пользуется все же большим почетом. Под этим флагом, сказал он, плавали наши предки, школа которых дала и современных советских моряков. А советский флот сейчас почти что первый в мире.

Ладно; пригласил я их в каюту, они мельком посмотрели бумаги, выдали всем пропуска на берег, но вежливо объявили, что нам с Олимпиадой и команде будет дано по одному проводнику-переводчику. Мы поблагодарили. Олимпиада устроила выпивку и закуску, и знаешь, Колька, ведь все моряки, даже советские, ну прямо как братья какой-то масонской ложи. Узнали, что я плавал в старом флоте, и засыпали меня вопросами, как было в старину, и так далее.

В общем просидели они у нас часа два, выпили, закусили на славу и стали прощаться. Когда я им сказал, что через три дня мы хотим вылететь в Москву, то они даже не удивились, а просто сказали, что им это было известно. Бумаги наши в порядке, так в чем же дело? Валяйте, говорят, куда хотите

по всей матушке-России вот эти три месяца. Я был поражен их осведомленностью, но вида не подал.

— Но все же, Костя, — сказал я, — как они узнали о твоем приходе в Севастополь и о желании лететь в Москву?

— Просто! Нам в Афинах дали визы, как туристам, на три месяца. А это, брат, шестьдесят долларов в день с нас двоих, западных капиталистов. Но команда, как „пролетарии", такому обложению не подлежит. Деньги, брат ты мой, да еще в иностранной валюте, даже в социалистическом государстве продолжают играть роль, и большую. Через советское консульство в Греции, через Интурист, мой приход в Россию и мой маршрут был известен. Понял?

— Понял, — сказал я.

— Ну вот, — продолжал Костя, — мы вступили на землю священного города-героя всей России. Не важно, какой России, старой или новой. Важно только то, что Севастополь вписал блестящие страницы в историю войны 1854-55 годов, а безумной храбростью его защитников от полчищ Гитлера в последнюю войну дал великий пример будущим поколениям русского народа, как нужно любить родную землю, защищать ее и как умирать за родину.

Машиной от Интуриста мы поехали осматривать город. Я по-прежиему находился в каком-то трансе, переживая возвращение на родину после стольких лет, проведенных на чужбине. Все же я увидел, что разрушенный до тла немецкой осадой город был почти восстановлен. Я смотрел со слезами на глазах на Минную пристань, где когда-то стоял наш ко-

рабль, на Павловский мысок, Графскую пристань, Приморский бульвар, Корабельную сторону, смотрел и не верил, что я в Севастополе.

С удовольствием глядел я на блестящую выправку русских моряков, отлично одетых, с их по-русски умными лицами, на которых было ясно написанно сознание достоинства моряка русского флота. В общем же мне казалось, что я вижу какой-то удивительный сон, что все это происходит не наяву...

— Ну, а Олимпиада? — поинтересовался я.

— Спрашиваешь! Ты ее не знаешь, что ли! Сразу же вступила в разговоры и сразу расположила всех к себе, с кем бы она только ни встречалась.

К тому же сумка ее и карманы были набиты барахлом, которое она щедро раздавала направо и налево. Какой-то милиционер сказал ей, что, мол, закон запрещает давать детям американскую жвачку, так она его так отчитала, что тот плюнул, махнул рукой и оставил ее в покое. Несмотря даже на ее фигуру слонихи, она сразу начала пользоваться таким успехом у россиян, что ни одна звезда экрана не могла даже и мечтать о таком поклонении...

Три дня прошли, как сон, и нужно было думать об отъезде.

⁂

Совершенно ошеломленный посещением Одессы и Севастополя, — продолжал свой рассказ Костя, — я уже не помню, как мы сели в аэроплан, оставив „Грозу морей" с командой в Севастополе, и вылетели в Москву. Приземлились, не помню где, вышли из

аэроплана и после проверки бумаг машиной с проводником мы покатили в отель „Украина".

— Ну, как Москва? — прервал я Костю.

— Трудно дать тебе картину современной Москвы. Москву ты, конечно, не узнаешь. Разрослась она и стала огромной. Масса новых пригородов, больших построек и даже план города изменился. Остался один только нетронутый переулок.

— Какой?

— Столешников. Каким был, таким и остался. Даже дом № 5 и квартира 21, где мы с тобой когда-то жили, продолжает стоять как „враг современности", наперекор всему и вопреки стихиям. А так? Что же можно сказать? Дает себя чувствовать отсутствие храма Христа Спасителя, Чудова монастыря и вообще того знаменитого старого московского уюта, которым так славилась Москва.

По всему городу снует масса всякого народа. Ты можешь увидеть здесь представителей всех народностей Руси, от украинцев до чуть ли не остяков Заполярья. Но публика в Москве поразила меня уменьем и любовью одеваться. Возможно, из последних денег, но одеты все прилично. Не буду говорить тебе о московском метро, ничего подобного по красоте и роскоши я не видел во всем мире. Город содержится в чистоте и порядке и за нарушение санитарных условий, чуть ли не за брошенный на тротуар окурок полагается штраф. Это ты увидишь сам.

— С чего ты взял, что я поеду туда?

— Я просил тебя не перебивать меня. Слушай, что тебе говорят умные люди.

— Безумным горе от безумья, а умным горе от ума, — вставил я.

— Хорошо! Пусть я безумный, но горе-то я перенесу как-нибудь, плечи у меня по-прежнему широкие. Но вот ты, умный, что ты со своим горем будешь делать, мне это неясно. Хотя, если попадешь в беду, я помогу . . .

— Спасибо за помощь, но ты продолжай. Я слушаю.

— Мы осматривали Москву, как полагается всякому рядовому туристу: Кремль, Грановитая и Оружейная палаты, театры и, конечно, балет. Дневные и ночные рестораны, кабаре для туристов, платящих валютой. Олимпиада потащила меня по церквам, где шла служба и в которых было много народа, но пожилого. Молодняка было мало. Потом с ней же пришлось поехать на кладбище Новодевичьего и Донского монастырей. Конечно, она нашла в Москве и греков, поговорила с ними по душам.

Десять дней провели мы с ней в Москве, а потом улетели в Ленинград. Ты помнишь, как мы с тобой провели в Петербурге три дня в хаосе революции? Ничего толком мы не узнали, мало что видели, но, брат ты мой, Москва — Москвой, а Питер — величественный город! Я честно тебе говорю, что даже восстановленный после страшных многолетных бомбардировок город царя-плотника показался мне прямо каким-то чудесным видением. И для меня он самый красивый город не только в Европе, но и во всем мире.

Олимпиада ходила с раскрытым ртом и только цокала языком от удивления и восхищения. И на-

род петербургский другой, особенный. Несмотря на многолетние ужасы войны и революции, люди в Петербурге сохранили старую русскую культуру, свой чеканный петербургский язык и даже свои старые манеры. Питерцы куда вежливее своих московских собратьев.

Провели мы в этом чудесном городе целую неделю. Потом поехали на север и на восток. Побывали в Ростове Великом, и во многих других местах русского Севера.

И я скажу тебе, Николай, русский народ, прошедший горнила революции, гражданской войны и великую войну с ее ужасами, не только остался тем же славным русаком, но стал еще лучшим, преисполненным уважения к тому, что он — русский, что он уже дал много всему миру и даст еще очень много в будущем всему человечеству. И будет это уже не в далеком будущем.

— А разве раньше русский народ не знал о своих духовных качествах, о своем мировом значении? Разве он не считался с тем, что он — русский?

Костя пристально и как будто с сожалением посмотрел на меня и тихо произнес:

— Нет, не знал.

— Да почему ты так думаешь? — спросил я.

— Потому что русский народ в массе своей не знал русского Севера.

— Ты несешь какую-то ерунду, Костя! Причем здесь север, юго-восток или запад? Какое значение имел север для русского народа? И что, русский

народ, по-твоему, никогда не посещал севера Руси, что ли?

— Да, посещал, но очень мало. Шли, главным образом в Соловки, паломники, простые неграмотные люди. О прошлом России народ этот почти ничего не знал. При Сталине много людей грамотных, культурных было послано на север, в концлагеря. Но оттуда никто почти не вернулся, чтобы рассказать русскому народу о его великом прошлом. Но что ты ни говори, а пойми меня: как бы мы оба ни относились к советскому правительству, нужно все же признать то, что оно обучило народные массы грамоте. Это одно. Второе — то, что до Сталина русская история... Нет, ты не улыбайся по-идиотски! Я повторяю, что до этого ужасного тирана русская история в России не преподавалась, а если и преподавалась, то очень плохо, и „отец народов" приказал начать изучение русской истории. Результат был тот, что русский народ стал не только грамотным, но и узнал кое-что из своего прошлого.

— Зайца, ежели его долго бить, можно научить и спички зажигать, — кольнул я Костю чеховской фразой.

— Да не только спички зажигать, но даже изобрести и пустить в пространство первого спутника и стать гигантом, не уступающим и американскому богатырю, — отпарировал Костя.

— Еще раз прошу, не перебивай меня, дай закончить мой рассказ, — нетерпеливо сказал он. — Сталину русская история была нужна не только для просвещения масс, она пригодилась ему и во время войны, когда он вывел на сцену и Александра Нев-

ского, и Суворова, и Кутузова, результатом чего был захват Берлина русскими войсками. Война окончилась. И русский Иван уже забыл об интернационале, он стал националистом. Но все же о русском Севере он еще почти ничего не знал. Но всякое большое дело начинается тихо, незаметно.

В Москве живет мой приятель по Нью-Йорку, талантливый ученый, но русский до мозга костей и человек большой русской культуры. Он мог бы спокойно сидеть в Нью-Йорке, получая солидное жалованье, и жил бы, как король. Но как и многие высоко культурные люди, он заинтересовался марксизмом, да так, что прочел и серьезно проштудировал два издания „Капитала" Маркса, они различны. В результате он стал марксистом, совершенно убежденным в правоте учения Маркса. Не закрывая глаз на ужас всего происходившего в России во времена царствования „отца народов", он все же говорил, что это явление было закономерным ходом истории, что все это пройдет, уляжется. Он не переносил, когда ругали не правителей России, а русский народ, который во мнении его оппонентов перестал, мол, быть русским и стал каким-то кровожадным зверем, стремящимся кровью и огнем навязать коммунизм всей планете. Это он отрицал, говоря, что коммунизм есть порождение капитализма, а потому, поскольку капитализм в России исчез, его место занял коммунизм, но никакой опасности от этого для всего мира он не видит и не ощущает.

В истории России, говорил он, было двое Владимиров: Владимир святой, принявший христианство от греков, и Владимир Ленин, принесший в Россию с Запада новое „евангелие" от Маркса.

Греческая идея христианства была русскими воспринята и очищена от греческой фальши и послужила краеугольным камнем в создании великой Российской Империи; так и учение Маркса тоже будет воспринято и переработано на русский лад, да так, что весь мир будет диву даваться и пойдет по проторенной русскими людьми дороге.

Этого моего друга всегда интересовал и беспокоил вопрос о восприятии молодняком старой русской культуры, ведь в ней было так много хорошего и неповторимого. И вот он бросил свое приличное положение в Америке и уехал в Россию еще при Сталине, сразу же после войны. Сначала он где-то что-то преподавал, а потом перебрался на постоянное жительство в Москву. Блестящий ученый, лингвист, человек огромной эрудиции и большой энергии, он окунулся в океан русского прошлого, русской культуры во всех ее видах. На русском Севере он тоже никогда не бывал. Поехал он в Кижи посмотреть на знаменитую русскую церковь, построенную русскими умельцами много веков тому назад без единого гвоздя и только топорами. Этот чудесный памятник старинного русского зодчества произвел на него такое глубокое впечатление, что он исколесил буквально весь русский Север, разыскивая древние русские сокровища, произведения всякого рода русского искусства. Он продолжал свою научную работу, не манкировал обязательствами, но жил только лишь вот этими своими поездками на Север.

А потом ему пришла в голову мысль, почему же не познакомить своих многочисленных друзей и знакомых с этой сокровищницей русской культуры в истории русского зодчества. Он начал возить с собою маленькие группы людей, человек по десять, по

всем местам далекого древнего прошлого исконной Руси. Возил он туда московских интеллигентов, знавших, конечно, что-то о русском Севере, но никогда там не бывавших.

И вся эта публика, увидевшая своими глазами русский Север, никогда никакими татарами не покоренный, увидевшая все то, что творили там русские люди в свободные времена, возвращалась домой потрясенная теми историческими богатствами, которые еще в глубокую старину создавал русский человек, свободно живший на дальнем Севере.

Так пошла в народе молва о Северной Руси. И теперь на русский Север каждый год едут, благодаря дешевому транспорту, миллионы туристов. Они видят своими глазами исторические сокровища московской, новгородской и псковской старины. Едут в Ростов Великий и не могут оторвать очарованного взгляда от памятников подлинной русской культуры, зародившейся на далеком севере при содействии древнего русского благочестия.

Северяне, как ты сам знаешь, — народ серьезный. Суровая природа научила их быть осторожными во всем, что связано с жизнью. И если они выбирали для себя что-нибудь, то это, раз и навсегда выбранное, оставалось и остается с ними на веки вечные, принимая северную русскую окраску, сохраняющуюся и по сей день.

Северная русскость — вещь особая. Это не киевская Русь, часто попадавшая под влияние греков или католиков, то поляков, то униатов, не говоря уже о татарском иге. Московская Русь сделала, конечно, тоже большой вклад в русскую культуру, это верно,

но войны, междоусобицы, татарское иго, Смутное время и другие несчастья, обрушивавшиеся на московскую Русь, то увеличивали, то уменьшали значение и ценность этого вклада. Не то было с северной Русью. Она всегда строго держалась взятого курса, неуклонно идя в избанном направлении. И не только это. Она даже установила свои, независимые формы правления как вече, новгородское и псковское.

— „Власть на местах", — вставил я.

— Если хочешь, — не обратив внимания на мою иронию, продолжал Костя. — Власть эта мужественно защищала землю своего народа и его культуру от немцев и шведов с запада и от татар с востока. И даже цари московские, как Иоанн Третий и Иоанн Грозный, разрушившие дотла и Новгород и Псков, не могли все же убить величественно-смиренную душу русского северянина. Он оставался все тем же, еще больше уйдя в себя, в свою веру, во все свое родное, северное.

Только русский Север мог создать грозную в своем величии и в то же время смиренную фигуру протопопа Аввакума, перенесшего столько мук и издевательств и сожженного на костре за свою старую веру.

Северянин восставал против карательных отрядов Петербурга и Москвы, навязывавших ему чуждую, новую никонианскую веру. Он хотел верить постарому и оставаться русским. Ни гонения, ни пытки не могли сломить духа северян. Одетые в белые одежды — саваны, со свечами в руках люди сжигали сами себя, но не подчинялись чуждой их духу враждебной силе, стремившейся, как они были убеждены, убить в них все русское.

И старым русским правителям ничого не оставалось делать, как оставить этих людей в покое. Там, на севере, во многих местах даже не было крепостного права. Северянин наружно исполнял все требования правительства. Духовно же он, как некогда легендарный град Китеж, опустился на дно своего лесного океана, до сих пор покрывающего весь север, и пребывает там, живя былинами, изумительными сказками и преданиями о своем великом прошлом.

И многие туристы, приезжая на север и видя, чем была древняя Русь и кто ее создал, преображаются и становятся русскими националистами. Они возвращаются к себе домой, гордясь тем, что они русские, а не какие-то пристяжные международного коммунизма, вот уже более полувека топчущегося на одном и том же месте. И тут уж их никакими политграмотами и курсами по истории партии не прошибешь. Им, брат, подавай все русское . . .

— И ты думаешь, что партийные главари не знают об этом и не учитывают такого опасного для них роста национализма? — усомнился я.

— Главари?! — и Костя рассмеялся. Да они сами такие же националисты, как и народ. Марксизм — ленинизм — это фиговые листочки, которыми они прикрывают свой национализм.

— Как же ты объясняешь поддержку Москвы порабощенным и отсталым странам, видящим спосение в марксизме? Китайцам, Вьетнаму, африкаским республикам, арабам?

— Колька! Под видом марксизма-ленинизма Москва продолжает старую, многовековую политику царского провительства . . .

— Ну, это ты уже слишком! — запротестовал я.

— Не волнуйся! Не думал ли Петр Первый захватить Индию после того как отвоевал персидские владения на Каспии? Не посылал ли Павел Первый русские войска в ту же Индию? Правда, он вернул их с дороги. Не стал ли тот же Павел Первый гроссмейстером Мальтийского ордена и тем самым — хозяином острова Мальты, этого важного стратегического пункта и по сей день? Осуществлению его планов помешала только его смерть от кушака Беннигсена и золотой табакерки графа Зубова, а не то мировая история пошла бы по другому пути. Не взял ли Александр Второй весь Кавказ после многолетней войны? А сколько войн вела Россия за захват Дарданелл, за освобождение братьев-славян от турецкого ига? Много и очень много.

Современная Москва убедилась в том, что провести мировую революцию будет довольно трудно. Обладая шестой частью всей обитаемой суши, от которой все время старались что-то урвать, Москва пошла по другому пути: пропагандой и помощью освободительным движениям в колонизированных странах, Москва свела на нет колониальное могущество белых во всем цветном мире. Этим она обезопасила себя от возможного нападения. Просчиталась она на одном только Китае, где поняли, что коммунизм, даже мировой, будет управляться из Москвы. Китаю тоже захотелось играть мировую роль в цветном мире, а цветных больше, чем белых, ты это знаешь. Ну и пошла катавасия: Корея, Индокитай и так далее. Москве не было выгодно дать возможность Китаю захватить Индокитайский полуостров, помогая Северному Вьетнаму, и Москва сама начала помогать этим вьетнамцам. Этим она устроила шах и мат, рус-

ский мат, Китаю, блокируя ему выход в бассейн Индийского океана.

Теперь, конечно, негласно Москва и Вашингтон поняли, что дело с „цветными братьями" „пахнет ладаном" и, выражаясь по-советски, они „втихаря" пошли на сближение. Для вида они продолжают переругиваться, а что делается на самом деле известно очень немногим. Я не буду объяснять тебе все эти такие тонкие вещи, ведь я знаю, что ты в них ни дьявола не понимаешь...

— Куда уж нам с суконным рылом да в калашный ряд! Ведь ты у меня за последние годы и философом сделался, а вот после твоей поездки в Россию ты и дипломат, и политик, и историк, и из американского грека превратился в русского, да еще в северянина!

— Совершенно с тобою согласен, Колька. Так вот сиди и слушай, что говорят тебе люди, знающие больше тебя. Не старайся иронизировать и „спасен будеши". Я все-таки решил оглушить тебя еще одним заявлением...

— Я ко всему готов, Костя!

— Так вот: по моему мнению, большевики спасли Россию, — убежденно произнес Костя.

Я довольно долго и внимательно смотрел на Костю и только через минуту, убедившись в том, что он не шутит, спросил его:

— Почему же ты так думаешь?

— Да потому, что если бы белые выиграли гражданскую войну, ты знаешь, чего потребовали бы союзники за свою помощь белым армиям? Все бога-

тые окраины России попали бы в их руки под разными предлогами. Союзники поддерживали бы претензии на самоопределение различных народностей России, от осетин до чукчей, включительно, и от России осталось бы тогда семь центральных губерний и больше ничего.

К счастью, этого не произошло. Красные победили, и неслыханными жестокостями, голодом и холодом, сталинским террором и концлагерями Россия все же была спасена...

— Вот видишь, Костя, только одна твоя поездка в Россию уже сделала из тебя агитатора сталинских идей. Здорово же нагнал страху „отец народов", если даже ты защищаешь его! Но не в этом дело. С твоими выводами, Костя, я не согласен, но, знаешь: „блажен, кто верует". Скажи мне лучше, как живет там народ?

— Как во всякой капиталистической стране.

— Капиталистической? — думая, что я ослышался, переспросил я.

— Так точно, в капиталистической. Если принадлежишь к партии, то живешь, как кум королю, брат министру. Ежели беспартийный, но против не идешь, — живешь тоже неплохо. Но если начинаешь бунтовать, явно или тайно, и тебя обнаружат, то или в психушки, или в концлагерь попадешь как пить дать. Но уже не по-сталинскому произволу. Будешь формально арестован, судим и по судебному приговору получишь должное.

Пьют они здорово. За пьянство попадешь в вытрезвитель, на одну ночь. Приведут в порядок, и к утру выйдешь. Но за „лечение" придется за-

платить рублей, кажется, пятнадцать, да еще на место работы сообщат. А арестуют три-четыре раза, — это может уже пахнуть скамьей подсудимых, и можешь попасть за решетку на несколько лет. Но пьют все. „Энтузиасты" такого „спорта", ежели не хватает денег на покупку водки, она дорогая, пьют самогон, одеколон и даже денатурат. Слепнут, но пить продолжают.

Образование и лечение бесплатные. Транспорт и еда дешевы, но разносолов для среднего человека, конечно, нет. Туристам дают все, что хочешь, иностранная валюта роль играет большую. Безработицы нет, и работы сколько угодно.

Западных свобод тоже нет, но жить стало легче, чем при Сталине. Тайная полиция существует, конечно, но самоуправством, как это было раньше, она не занимается. Ей нужно иметь ордер на арест. Конечно, при сильном желании могут „пришить" какое угодно дело, но только при сильном желании. На доносы обращают строгое внимание, и если дело серьезное, доносу дадут ход. Если же донос ложный, доносчика могут притянуть к ответу.

Несмотря на скудноватую жизнь и на дороговизну одежды и обуви, все люди стараются быть хорошо одетыми. Временами встречаешь людей лучше одетых, чем на Западе.

Но меня поразил сам народ, хороший, сердечный, добрый русский народ. Он определенно стал лучшим, чем был раньше. Думаю, что все испытания, через которые он прошел, сделали его еще более мягким, более сострадательным. „Начальство", как и везде, держится важно, порою даже хамит.

Хулиганство, а под эту статью легко попасть, милостью не пользуется. Задержанное хулиганье милиция избивает так, что в другой раз они стараются не попадаться.

— Ну, а как церковь? Религия вообще и духовенство?

— Официально религия государством не признается. Но у них есть несколько духовных семинарий и духовная академия в Загорске. На патриарха, патриархию и духовные училища средства правительство отпускает. Я видел программу Загорской академии, — очень солидная штука. Философии там отведено большое место. Они штудируют всех философов мира, от Платона до Н. Бердяева . . .

— До Бердяева! — не удержавшись, воскликнул я.

— Да, да, до Бердяева. Ведь покойный философ, высланный из России, все время работал в эмиграции против марксизма, а на деле он оставался таким же марксистом, каким начал свою философскую карьеру. Ругая марксизм и марксистов, он верил в то же время, что марксизм был нужным средством для сохранения России.

— Подожди, Костя, я ничего не понимаю, — вскричал я. — Откуда ты все это выкопал?

— Да от его друга, ныне тоже покойного, которому Бердяев перед смертью сказал: „В. Н., тот день, когда красный флаг над Кремлем будет спущен, будет самым ужасным и несчастным днем для России".

Все его архивы, рукописи, даже маленькие записки советское правительство купило у его вдовы и отправило все купленное в Москву.

— Откуда ты все это знаешь? — изумился я.

— У меня есть несколько знакомых в Москве, которые рассказали мне много интересного, — как-то уклончиво ответил Костя.

— У тебя есть знакомые в Москве? Ты никогда не говорил мне о них.

— Мало ли чего я тебе не говорил! Слушай дальше и не перебивай меня твоими детскими вопросами.

Так вот — о церкви: службы идут в так называемых „действующих" храмах. Их немного, но там служат . . .

— Но ведь за рубежом говорят, что половина священников в СССР на службе у правительства, — перебил я Костю опять.

— А на Западе нет попов, которые находятся на службе у правительства своих стран как осведомители? — даже злобно огрызнулся Костя. — Не в этом дело. Пойми ты, уме недозрелый, то, что если в России человек решает стать священником, — он уже подвижник, обреченный человек. Он всегда под подозрением у властей. А это — нелегкая жизнь.

— Говорят, что там существует катакомбные церкви тоже?

— Вот это самое я сказал в Москве одному священнику „действующего" храма. Он посмотрел на меня своими лучистыми голубыми глазами и сказал: „О тех людях, которые говорят такие вещи, помолитесь о них, сын мой!"

В начале революции катакомбы были, да. Но теперь их нет. Священники в большинстве своем —

хорошие люди, в особенности те, которые были опалены огнем революции и прошли гонения сталинского режима. Они то и делают все возможные, чтобы помочь народу в его духовных нуждах. Бывают такие случаи: скажем, кто-нибудь хочет окрестить новорожденного младенца. Если родители понесут его в церковь сами, они могут потерять работу. Что делать? Родители берут ребенка и идут к церкви. А там всегда сидят несколько стариков и старух. „Бабушка, окрестите дитя!" Охая и кряхтя, старушка с каким-нибудь стариком идут в церковь, где всегда находится священник. Старики являются крестными новорожденного. Священник совершает обряд крещения. Старики выходят из церкви и возвращают окрещенного младенца родителям. Ребенок окрещен, — это главное, а отсутствие метрики роли не играет.

Со свадьбами дело труднее. Если венчают, то „втихаря", на дому. Но это бывает редко.

Да, священники в массе своей — хорошие люди. Так говорил мне и мой приятель в Москве.

— Откуда появился у тебя приятель в Москве, Костя?

— Узнаешь потом. Он рассказал мне интересню историю: в одной большой деревне на севере есть „действующий" храм, конечно, со „служителем культа". Так вот, в воскресенье, после обедни, он выходит с прихожанами летом в ограду, а зимой — в большой старый церковный дом. Приносится водка, закуска, но только не самогон, водка — вещь законная, а самогон запрещен правительством, и нарушать закон — грех. Выпивают по чарке, по другой, „служитель культа" берет гармонию и начинает играть

разные песенки. Ему вторят, подпевают, даже танцуют под музыку, а потом мирно расходятся по домам, помолившись и повеселившись чинно и благородно.

— И власти его не преследуют?

— Пусть попробуют! Он — много раз раненный боевой офицер Красной армии, да еще и герой Советского Союза. Богатырь, косая сажень в плечах, производит сильное впечатление. Все знают его как „Костю — моряка". Власти оставляют его в покое.

Кому не везет там — это агитаторам атеизма. На эту должность берут обыкновенно людей, почти не подготовленных. Ну, приезжает такой тип куда-нибудь, собирает митинг. Приходит народ, неверующий и верующий, среди которого многие знают священное писание и службу церковную „на зубок". И, конечно, такого „агитатора" его оппоненты разбивают в пух и прах, а в медвежьих углах где-нибудь и поколотить могут. На такую „специальность" охотников находится мало, но раз партия назначает, то назначенные подчиняются и идут на эту работу, заранее зная, что из их деятельности ничего не выйдет.

— Да откуда ты все это знаешь? — Уже нетерпеливо допытывался я. — Кто этот твой приятель в Москве?

По выражению лица Кости я понял, что сейчас многое станет для меня ясным.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДЕТЬСЯ...

Костя улыбнулся, помолчал немного и потом спросил меня:

— Помнишь ты Ваньку Горнедухова, дьяконского сына, которого я за икону Николая Чудотворца принял в команду „Грозы морей", первого нашего фрегата в Танаисе? Которому я сделал татуировку голой женщины на спине?

— Ну, конечно, помню! Неужели он еще жив?

— Жив и как еще живет!.. В 1918 году, когда красные произвели неудачную для них высадку десанта где-то на Миусе, в их рядах был и Горнедухов, который попал к ним в качестве аптекаря и даже фельдшера. Ты сам знаешь, что творилось в те времена, брали кого попало на любую должность, лишь бы человек хоть немного знал по какой-нибудь специальности.

Десант был разбит немцами — дошедшими до Ростова/Дон, а легкораненого Горнедухова куда-то эва-

куировали с отступившими красными. Там он поправился от ранения, продолжал службу в Красной армии и вступил тогда же, в 1918 году, в партию.

— Как же мог он вступить в партию, если отец его был дьяконом? — удивился я.

— Ты забыл, что отец Ваньки был до дьяконства кузнецом в какой-то деревне, где проезжавший архиерей обратил внимание на низкую октаву кузнеца и после маленькой подготовки „произвел" его в дьяконы. Ты, может быть, помнишь, что Ванькин родитель был не дурак и выпить. В начале революции умерла его жена, Ванькина мать, и отец дьякон, человек немалых коммерческих способностей, сбросил с себя „спецодежду" служителя культа и вернулся к себе в деревне, где была и еда, и самогон. Там он начал опять работать кузнецом и жил, как король, но через какое-то время был мобилизован и зачислен в красную кавалерию как специалист-кузнец. Служил он в одной из красных кавалерийских дивизий вместе с Ванькой, своим сыном, где-то на царицынском фронте. Вместе с сыном, как истинные пролетарии, попали они и в партию, нюхом чуя, что красные разобьют белых.

Так оно и вышло. Впоследствии бывший дьякон умер от тифа, а осиротевший Ванька очутился после войны в Москве; как член партии и ветеран гражданской войны, несколько раз раненый, он был принят в какой-то вуз или институт, начав учиться на провизора.

Для этого Ваньке понадобилось знание латыни, но так как давалась она ему туго, он нашел тогда где-то старичка-профессора латинского языка в прошлом, который принялся заниматься с ним серьезно.

В результате Ванька „влюбился" в латынь, а в своем институте шел первым по фармакопее и по химии.

Когда ученье было закончено, Ванька наш получил хорошую должность и продолжал все время заниматься латынью, а также английским и немецким языками. Лично известный Сталину еще по царицынским боям против белых, Ванька в партийную борьбу не лез, не принимал участия ни в каких партийных интригах и дело свое вел блестяще. Партийные собрания посещал он только по обязанности, отговариваясь своей занятостью и покидая их как можно скорее. Прекрасно владея латинским языком, он стал в это же время увлекаться чтением произведений древних философов в оригинале... И, понимаешь, он знает философию лучше даже, чем я, — с заметной завистью произнес Костя.

— Ну, для этого много знать не нужно, — уколол я его.

— Твоего мнения никто не спрашивает. Молчи и слушай! Женился Ванька Горнедухов на дочери некоего старого партийца, чудом не попавшего ни в одну чистку, проделал потом войну, после чего получил большой пост в химической промышленности, в области проиводства спирта...

— Но как ты его разыскал? — полюбопытствовал я.

— Сидел я однажды в ночном клубе Интуриста, который посещается и московскими большими сановниками. Смотрю, напротив меня сидит компания в четыре человека, — двое мужчин и две женщины.

Лицо одного из мужчин показалось мне почему-то знакомым, но я, конечно, не пошел к нему выяснять, где и когда я его видел.

Вдруг этот человек сам поднялся со стула, подошел ко мне и, глядя на меня в упор, спросил:

— Костя Попандопуло?

Мне ничего другого не оставалось сделать, как ответить:

— Он самый, а вы?

— Я? Да Ванька Горнедухов!

И мы бросились друг другу в объятия. Окружающие смотрелли на нас с удивлением, и я, учитывая обстановку, шепнул ему на ухо, что ты, мол, знаешь, что я в прошлом — белый, а теперь американец, и не будет ли тебе какой-нибудь неприятности за встречу со мной?

Горнеухов громко расхохотался и сказал, чтобы я об этом не беспокоился.

— Гражданская война, Костя, — сказал он, — была семейной нашей дракой. Мы победили, вы проиграли. Вы, „беляки", шпаги вашей врагам России не продавали, и это самое важное. У немцев не служил?

— Нет, даже дрался против них.

— Ну, тогда все в порядке. А кто старое помянет — тому глаза вон. У нас, брат ты мой, первых белогвардейцев уважают. Дрались вы под старым русским флагом лихо, хотели строить Россию справа, а мы слева. У вас это дело не вышло, а у нас пошло. У нас даже веши белогвардейские песенки сейчас распевают: „Смело мы в бой пойдем за Русь святую и, как один, прольем кровь молодую".

Вот если бы ты был из второй эмиграции, дело было бы другое, а так... Давай же выпьем за встречу, за Таганрог, за наше детство, за „Грозу морей", за Азовское море и главное — за то, что ты вернулся домой. Надолго?

— На несколько недель, — ответил я ему.

Он дал мне свою карточку и пригласил приехать к нему домой с Олимпиадой завтра обедать и поговорить по-настоящему.

Мы выпили еще, и Горнедухов вернулся к своей компании.

На следующий день вечером мы с Олимпиадой приехали к Горнедухову к обеду. У него уже сидело несколько человек, не то его приятелей, не то товарищей по работе. Мы перезнакомились. Квартира была очень большая, довольно хорошо обставленная.

Сели мы за стол, выпивали, закусывали, разговаривали. Кончилась закуска, начался и кончился обед, во время которого разговаривали на всевозможные темы, за исключением тем политических. После обеда гости, кроме одного, ушли, и Горнедухов предложил перейти к нему в кабинет. Олимпиада осталась с его женой в столовой.

Кабинет Горнедухова был обставлен совсем не по-пролетарски, а старинной солидной русской мебелью. Была там и довольно приличная библиотека. Нам принесли туда кофе, коньяк и ящик с сигарами. Совсем по буржуазному порядку...

Горнедухов просил меня не стесняться присутствием его друга и быть „как у себя дома". Почему он это сказал, я не знаю, но я почему-то чувствовал,

что „друг" этот — просто „нянька", следящая за разговорами с иностранцами. Мы говорили о нашем общем детстве, потом о моей более чем полувековой жизни за рубежом. Вспомнил он и тебя и как бы невзначай спросил о цели моего приезда в Россию. Моим ответом он, казалось, остался доволен.

Он задавал много вопросов о древней истории Греции, тепло вспоминал старика-профессора, научившего его латыни и познакомившего его с древней философией. Казалось, что Горнедухов был искренно благодарен своему учителю, научившему его многому, что пригодилось ему в дальнейшей жизни. Старик-профессор говорил ему, что, если Горнедухов хочет жить спокойно во времена грандиозных переворотов, ломок и перемен общественного строя, то не нужно лезть в герои или вожди. Тогда все будет в порядке и можно будет спокойно дожить до глубокой старости без всяких треволнений. Нужно только оставаться в области своей научной работы, приобретать и копить знания и передавать их молодому поколению. Не вмешиваться, поскольку возможно, ни в какие политические страсти. Тогда все будет хорошо.

И старик приводил примеры из истории французской революции, которую знал на зубок.

— Я следовал его советам, — говорил Горнедухов. — Я работал, учился, кроме латыни, и другим языкам. „Арап" по природе, я сразу распознавал людей и по душам сходился с ними очень и очень редко. Партийные собрания я посещал нечасто, ссылаясь на огромную работу, и работал действительно, как вол. Поэтому меня оставляли в покое, а за мои знания и опыт в области химии, меня уважали, мне доверяли и даже посылали много раз за границу,

в Европу и в Америку, еще при Сталине. Теперь я езжу туда, когда мне вздумается. Я мог бы давно быть в отставке, но меня, как нужного человека, держат на службе и по сей день, в качестве консультанта, так как химия в России все растет и растет. Мои дети и внуки также пошли по этой же части.

Серьезные ученые у нас много работают, но и живется им не плохо.

— А как живется остальному народу? — задал я вопрос.

Немного помолчав, как бы обдумывая свой ответ, Горнедухов отвечал, что стройка марксизма-ленинизма в России еще не закончена, что здесь перемалывают, так сказать, муку западного социализма Маркса на добротную русскую муку крупного помола. Они русифицируют западный социализм на русский лад. Пока что — марксизм-ленинизм, а что будет дальше — будущее покажет. Он, Горнедухов уверен, что будет толк, но вопрос только в том, когда?

В ожидании дальнейшего народ научили читать и писать, дали работу и какую-то крышу. Дали и кусок хлеба, не роскошный, но с голоду человек умереть в России не может. Дали бы и больше, но гражданская война, террор Сталина, вторая мировая война, помощь „братским" народам, рост технологии и вооружение забрали и забирают еще много средств, а поэтому народ живет не так, как бы он должен жить. Вот пьют много, а это большое зло и избавиться от него, несмотря на все принимаемые меры, очень трудно. А потом еще и вкоренившееся у русского рабочего отношение ко всему государственному: „Да оно казенное, чего же его жалеть!" тоже имеет влияние на экономику страны.

— Здесь, под влиянием выпитого, — сказал Костя, — я возьми да и бухни Горнедухову: „Быть может у вас происходит такого рода явления потому, что у вас нет западных свобод, а царит дух времени Николая Первого?"

Горнедухов улыбнулся.

— Я тебе уже говорил, Костя, что на Западе я бываю довольно часто и даже Соединенные Штаты посетил не раз. Так ты хочешь, чтобы мы ввели и разрешили свободы Запада здесь, у нас в России? Чтобы наша молодежь погрязла в половой распущенности и развратной жизни, доходящей до садизма? Чтобы она увлекалась наркотиками? Чтобы ходила грязная, немытая, с длинными волосами, усами и бородами, никогда не знавшими мыла, гребенки и щетки? Чтобы молодежь не знала, что такое работа, необходимая человеку, как воздух? Ты хочешь, чтобы Россия начала духовно разваливаться?

— Уже в сильном подпитии, — продолжал свой рассказ Костя, — я опять брякнул: „Да она давно уже начала духовно разваливаться!"

— Так ты хочешь еще больше разваливать Россию твоими свободами, — возмутился Горнедухов. — Нет, Костя, — продолжал он. — В начале двадцатых годов у нас тоже существовали такого рода свободы и пришлось их выкорчевывать железом и огнем. Но ты прав, когда говоришь, что у нас царит дух времен Николая Первого, это верно. Этого царя мы и теперь уважаем. Он правил „без дураков", не убоялся восстания декабристов и подавил его. Отнесся он к декабристам довольно мягко, но до конца своей жизни им, конечно, не доверял. Да и как можно

было верить в искренность их убеждений, если ни один из них, вернувшись из ссылки, не отпустил своих крепостных на волю, о которой они так ратовали.

Правил он сурово, это верно, но в его царствование было открыто в стране семь университетов, он построил первую в России железную дорогу. И в то же время он не стеснялся посылать в ссылку таких людей, как Пушкин и Лермонтов. А Чаадаева, знаменитого публициста и западника, он прямо объявил сумасшедшим, хотя и не посадил в психушку. Он вел войны и на Кавказе, и в Крыму, неудачно, но вел, и возможно, что этими войнами он подготовлял победу над турками в 1877-78 годах.

Главным же было то, что он жил для России, это было главное. Знаменитого Невельского, самовольно построившего на китайской земле Николаевск-на Амуре, он не только помиловал и произвел в капитаны 1-го ранга, но и сказал, что там, где русский флаг был уже раз поднят, спускать его нельзя. Были у него, конечно, и слабые стороны, но ведь даже на солнце есть пятна, так чего же можно требовать пусть и от императора, но все же смертного человека?

У нас есть еще много недочетов, это верно, — продолжал Горнедухов, — но мы стараемся их выровнять, загладить. Главное же то, что начало просыпаться русское национальное сознание, что мы это знаем и гордимся тем, что мы русские.

— Ну, а как же насчет мировой революции?

— Сначала мы думали, — отвечал Горнедухов, — что эта самая мировая революция произойдет молниеносно, но на деле же оказалось не так. В те далекие времена мы помогали странам революционно

настроенным, теперь же наша помощь носит другой характер, о котором я не хочу говорить сейчас.

Нам нужна теперь западная технология и торговля со всем миром. А пропаганду мы сократили до минимума. Ее уже давно ведет Китай, он и устраивает на Западе кавардак. А собак за эти беспорядки вешают на нас...

Ты долго еще пробудешь на родине? — спросил меня Горнедухов.

Я ответил ему, что сейчас лечу в Ташкент, Самарканд и Бухару, а затем вернусь в Москву и уже отсюда вернусь домой, в Грецию.

— Когда вернешься в Москву, обязательно повидайся со мной. Мне нужно еще поговорить с тобой о серьезных вещах, — закончил Горнедухов нашу беседу.

Мы распрощались, и я с Олимпиадой уехали к себе в отель.



— Ну, посетили мы затем Ташкент и Самарканд и вернулись в Москву, — продолжал Костя свой рассказ. — Я позвонил Горнедухову. В ответ он просил меня приехать к нему в тот же день вечером.

— Слушай, Костя, — прервал я его. — Ты говоришь мне о своей поездке, о встрече с Горнедуховым и о разговорах с ним так, как будто все это было для тебя совершенно обычным явлением... Так, — взял да поехал, посмотрел...

— Ты не торопись,Николай, а выслушай меня с терпением, которого тебе, между прочим, не хватало

всю жизнь. Знаешь, о чем говорил Горнедухов со мною?

— Конечно, не знаю.

— Ну, слушай! Сначала он спросил меня, не надоела ли мне жизнь за рубежом и не желаю ли я вернуться на родину совсем? Улыбнувшись вопросу, я сказал, что рад был бы вернуться в советский рай, да вот мои белогвардейские грехи „не пущают"... Тогда он поставил вопрос иначе: как, мол, насчет того, чтобы жить хоть часть года в России, а остальное время за рубежом?

Надо тебе сказать, что предварительно он предупредил меня, что я могу говорить совершенно свободно, не боясь ничего.

Подумав немного, я спросил Горнедухова в свою очередь, что же я буду делать, живя часть года в России? Ответ его был коротким: „Торговать".

— Торговать чем?

— Нам нужны недорогие вина в бочках или наливных судах, — начал перечислять Горнедухов, — нам нужны миллионы лимонов, апельсинов, мандаринов, нам нужны маслины, оливковое масло и еще некоторые товары из Америки, которые ты, Костя, можешь, как американец, свободно и легально покупать там и продавать нам.

В обмен мы можем давать сырье или же платить твердой валютой.

Здесь, видя, что разговор наш принимает уже деловой характер, я задал Горнедухову совершенно естественый вопрос:

— Да кто ты, собственно говоря, такой и какими полномочиями ты обладаешь, чтобы делать такие предложения мне, белогвардейцу в прошлом, американскому гражданину и хотя бы и маленькому, но все же капиталисту?

Совершенно спокойно и нисколько не удивившись, Горнедухов сказал в ответ:

— У меня довольно солидное положение в государственной торговле, и я имею право и широкие полномочия заключать какие угодно сделки на любую сумму. Это одно. Второе, — почему я обратился к тебе, белогвардейцу в прошлом и американскому капиталисту в настоящем? Это просто: ведь Москве все известно, как и чем живет и дышит вся эмиграция вот уже более полусотни лет. Мы знаем, в частности, все о тебе и о Николае, друзьях моего далекого детства в Таганроге.

Вы оба были и продолжаете и сейчас оставаться противниками коммунизма, но вы оба вели себя прилично по отношению к русскому народу. Я подчеркиваю: к русскому народу. Быть в оппозиции к любому правительству, в любой стране и в любое время — вещь нормальная. Правительство можно ругать как угодно. Это тоже нормально. И зачем же иметь правительство, если его нельзя ругать? — улыбнулся Горнедухов.

— Но вот ругать народ, — продолжал он, — да еще русский народ, как это делали и делают многие, это самое последнее дело. Это все равно, как говорит Писание, что произносить хулу на Духа Святого, и такому хулителю никогда не будет прощения, ни на этом, ни на том свете. А вы с Николаем, нам это известно, никогда народ не хулили.

И во вторую мировую войну вы оба служили и сражались в американском флоте, значит были вместе с русским народом против фашистов, наших врагов, стремившихся поработить Землю Русскую.

Вы оба никогда не скрывали, что были белогвардейцами и что в семейной русской драке дрались против нас. Мы любим и уважаем таких смелых, честно о себе говорящих людей, даже если они и ругают нас. Таким врагам мы с удовольствием пожмем руку. Но ко всяким прихлебателям и подлизам, „белякам" в прошлом, а сейчас открещивающимся от своих былых убеждений и лезущим к нам на службу, мы относимся с недоверием и даже с презрением. Мы сторонимся таких людей, им не доверяем и ничего общего с ними иметь не желаем. То они с вами, то к нам стараются попасть, они способны на все, им все равно, кого продавать, партию или народ.

Вы — другое дело. Вы и сейчас враги партии, но вы не враги народа. И мы знаем, с кем имеем дело. Вы любите Россию и народ и в этом направлении вы можете сделать для них очень много...

— Слушай, Ванька, — перебил я Горнедухова. — Ты, выражаясь по-таганрогски, „прешь вола на хату". Партия правит народом, и партии может не понравиться то, что может быть сделано нами для России и для народа, но без участия или одобрения партии, — это одно. А другое, — что можем сделать для России и для народа мы, люди, прожившие полвека за рубежом?

— Мы с тобою, Костя, — возразил мне Горнедухов, — знаем кое-что о философии. Ты уже упомянул как-то Гераклита, сказавшего, что все течет, все

меняется, что нельзя вступить дважды в тот же самый проток. Так и у нас: времена „культа личности", когда на народ смотрели, как на быдло, ушли в область преданий. Правда, некоторые еще и сейчас продолжают вести себя так, как в ту эпоху, но таких людей становится все меньше и меньше. Мы теперь понимаем, что установить коммунизм во всем мире — дело довольно трудное, оно займет много времени и труда, и потребует больших расходов. Но нам нельзя и отказываться от нашего прошлого. Мы его употребляем сейчас, как щит против возможных атак на Россию и русский народ. Поэтому мы все больше и больше идем навстречу народу, стремимся к соединению с ним. Это — линия партии. Тех, кто с нами не соглашается, мы принимаем за сумасшедших и сажаем на излечение.

Сумасшедших во всем мире развелось много, не только у нас, но и у вас, на Западе. Свободы Запада настолько широки, что спятивших с ума в дома для умалишенных зачастую не сажают, и они свободно разгуливают по улицам как ни в чем не бывало. Мы поступаем наоборот.

В настоящее время у нас идет переделка, может быть незаметная, западного коммунизма на русский лад, и русский народ строит свой, русский социализм, с которого потом весь мир будет брать пример.

— Где же здесь мировой коммунизм? — перебил я опять Горнедухова, сказал Костя.

— Мировой коммунизм, — продолжал просвещать меня Горнедухов, — как всякая философия, распался на разные секты, или толки. Возьми, для примера, христианство. Сначала оно было общим, целым и не-

рукимым. А что делается теперь? Оно разбилось и на православных, и на католиков, и на лютеран, на кальвинистов, да и не перечесть всех христианских религий мира. И все они враждуют между собой далеко не по заветам Христа.

То же самое происходит и среди магометан. Магомет дал всем своим последователям одну веру, а теперь монолит Ислама распался на три группы: шииты в Персии, сунниты в Турции и во всем арабском мире и есть еще измаильтяне, не считая нескольких других сект.

Немало различных верований и в буддизме.

Примерно то же самое случилось и с марксизмом. Много народов во многих странах уверовали в учение Маркса, но каждый народ, каждая страна понимали и принимали марксизм по-своему.

Как говорят у нас, получилась „неувязка" между нами и новыми последователями учения Маркса. Мы, конечно, уверяем и настаиваем на том, что наша форма марксизма-ленинизма самая правильная. Но кто мы такие и что такое эта наша форма марксизма? Мы — русские, мы первыми восприняли марксизм, и наша форма социализма стало быть тоже русская. Таким образом, пришлось переодевать русского Ивана из неподходящей ему куцой одежды западника во все русское, от папахи и полушубка до высоких русских же сапог.

Теперь Иван уже не гнет спину и не унижается перед просвещенным Западом. Он начинает понимать и реагировать по-иному. И если он не стал еще рядом с Америкой, то скоро будет шагать с нею вместе, бок о бок. Не как ратующий за объединение проле-

тариев всего мира, а как русский, переделавший марксизм на свой, русский лад и зажегший тот, русский же свет, который осветит когда-то все народы мира.

Поэтому, если вы оба будете делать что-то хорошее и нужное для русского народа, партия не будет обращать никакого внимания на ваше прошлое, потому что, прожив почти всю жизнь за рубежом, вы оба остались русскими людьми.

— Не верится мне что-то, — сказал я Горнедухову. — Ведь ваши ведут и по-сейчас пропаганду по всему миру за установление повсюду коммунистического строя.

— Да, мы вели пропаганду, которая обошлась нам в „копеечку", но теперь ведет ее Китай и главным образом в странах Западной Европы, что нам не особенно нравится.

— Почему именно? — переспросил я Горнедухова.

— Да так, не нравится! — уклончиво отвечал он.

— Но все-таки?

— Ну хорошо, — сказал он, — я тебе скажу, почему. В случае неприятностей на Дальнем Востоке нам совершенно неинтересно иметь за собою разложенный европейский тыл. Понятно?

— А как же насчет Индокитая? Вы что, не вели там пропаганды, не помогали северянам?

— Пропаганду и революцию начал Хо-Чи-Мин. Мы ему помогали, это верно. Но наша помощь Ханою — это был шах Америке и мат Китаю, как я уже говорил тебе раньше. Шах Америке — это чтобы показать, что и мы не лыком шиты и достаточно силь-

ны, для того чтобы с нами считались. Мат Китаю — это уже геополитика. Нам совершенно неинтересно, чтобы Китай проник в бассейн Индийского океана. Если Вьетнам одержит победу, то Китаю там делать будет нечего. Заслон мы ему там поставили сильный. Понятно?

— Понятно. Ну, а дальше что будет?

— Эх, Костя! — усмехнулся Горнедухов. — Умный ты парень, а некоторых вещей не понимаешь.

— Каких?

— Самых простых! Разве ты не видишь, что весь наш огромный мир может управляться только двумя странами? Большими, сильными, богатыми всякими природными богатствами и не думающими о захватах чужих территорий, которым и своей земли девать некуда. С народами, населяющими эти страны, такими похожими друг на друга и к тому же народами талантливыми, почти гениальными.

— Какие же это страны? — спросил я, не доверяя своим ушам.

— Северо-Американские Соединенные Штаты и Россия, — ответил мне Горнедухов.

— Ты в этом уверен? — переспросил я.

— Больше чем уверен. Дружба этих народов началась еще во времена американской революции. В силу некоторых обстоятельств к концу 19-го века дружба эта как-то охладела. В начале октябрьской революции в России между этими странами возникла даже перебранка, но на деле они помогали друг другу. Благодаря американцам и американской техно-

логии много было построено различных предприятий в России. Один Днепрострой чего стоит?! В Великую Отечественную войну в Россию из Америки шла широкая военная помощь. Да и теперь вот русские и американские астронавты собираются вместе лететь в пространство, хотя правительства обеих стран руганку все время продолжают.

Что же это, по-твоему, означает? Что это — игра словами и угрозами? Нет, брат! У нас, в СССР, много вещей начинают идти вправо, а у вас, в Америке, влево, и когда-то эти народы сойдутся и найдут общую точку соприкосновения. Пользу, если и не от союза, то хотя бы от сближения, понимают правящие круги обеих стран, и такая возможность серьезно учитывается и одними, и другими. Союз этих двух гигантов неизбежен. Когда он осуществится, я ие знаю, возможно, что мы с тобой и не доживем до этого, но в том, что наши дети это увидят, я уверен.

А потому нужно готовить почву для слияния этих двух богатырей в прочный союз. Это полезное дело, и делать его нужно, не смущаясь скромным масштабом предлагаемого тебе, Костя, начинания.

Что-что, а торговые расчеты Советы ведут честно, беспокоиться нечего. Что же касается американского и греческого правительств, — препятствовать торговле они не будут и необходимые разрешения дадут. Смотри на Москву теперь: сколько дельцов съезжаются сюда со всех концов мира, чтобы завязать с нами торговые сношения. Но мы и людей, и страны выбираем довольно осторожно.

Вам же обоим дорога к нам, в Россию, открыта. Одно слово согласия, — и я завтра же доложу об

этом по начальству. А послезавтра, я уверен, все будет одобрено и принято нашими властями.

— Но почему ты, Горнедухов, так заинтересован в том, чтобы я с Николаем вели дела с вами?

— Да потому что мы все трое родились и выросли на одной и той же земле, в одном городе, и знаем друг друга с детства. Когда-то мы сражались на разных сторонах, это верно, и благодаря этому вы теперь американцы русского происхождения. И с вашим американским опытом и вашими знаниями вы можете быть полезными в деле сближения наших двух народов как никто другой.

Хоть я и старый партиец, а все же вижу ясно, что в перестройке всего мира союз России с Америкой необходим, как воздух . . .

— Не то говорит ваша печать, Ваня. И если бы наш разговор попал в ваши газеты, я думаю, что тебе не поздоровилось бы.

Горнедухов рассмеялся.

— Ты еще не знаешь, Костя, кто я такой! Я тебе говорил уже, что сталинские времена прошли и без серьезных обвинений за решетку не попадешь. Крамольными вещами, торговлей родиной я не занимаюсь, и, кроме того, наш с тобой разговор уже заранее известен, кому это надо знать. Так чего же мне бояться? Я только хочу, чтобы вы снова стали русскими . . .

— Ты хочешь, чтобы мы отказались от нашего американского гражданства?

— Только не это, ради Бога, только не это! Нам именно важно, чтобы вы оставались американцами,

но вели бы дела с нами, соединяя американский и русский способы ведения дела.

И пусть хотя бы и в небольшом масштабе, но все же чтобы вы оба работали на сближение и сотрудничество наших двух великих стран, которым не судьба, а просто здравый смысл подсказывает вместе установить во всем мире какой-то порядок.

— Как же можно работать на сближение этих стран, когда между ними все время идет гонка вооружений и всякого рода дипломатические состязания? — задал я вопрос Горнедухову.

— Это было и еще будет продолжаться некоторое время, — не смущаясь, продолжал Горнедухов. — А делалось это для того, чтобы показать нашу силу, нашу военную мощь и то, что в возможный союз мы вступим на равных правах, а не как какие-то бедные родственники, которым нужно не только помогать, но даже и защищать их вследствие их слабости и ненадежности.

И Соединенные Штаты и Россия почти уже полвека помогают всем „бедным и отсталым странам", а какую они получают благодарность, ты сам знаешь. И вам, и нам только что в физиономию не плюют, да еще в придачу и русских, и американцев считают дикарями и невежами, не имеющими понятия о слове „культура".

Нам это, признаться, надоело, да и ваши не сходят с ума от радости, слушая такие „комплименты".

И я еще раз повторяю, подводя итог всему, что уже было сказано, — сотрудничество между нашими странами необходимо всему миру, как воздух. Толь-

ко они, наши две страны, могут сделать очень много для всего человечества.

Но ты извини меня Костя, я очень устал и мне надо отдохнуть. Ведь я болен.

— Что с тобой? Чем ты болен?

— У меня начинается рак, черт бы его побрал, но я смирился уже с этим фактом.

— Но ты пьешь, — заметил я Горнедухову.

— А если я брошу пить, так ты думаешь, что рак от жажды оставит меня? Нет, Костя, так веселее... Прожили мы с тобою немало, немало и сделали на нашем веку, пора и честь знать. Нужно и место, „жилплощадь", как у нас говорят, молодняку уступать и перестать небо коптить.

— Я слышал, что в Москве рак излечивают, — хотел я подбодрить его.

Горнедухов слабо улыбнулся.

— Не излечивают, а подлечивают. Хорошо подлечивают, но и только. Еще до нашей эры Гиппократ, отец медицины, сказал, что со временем люди научатся лечить все болезни, но рак никогда. Христос же сказал, что бедность (этот рак современности) и бедняки всегда будут рядом с богачами и ничто их не уравняет...

— Ты к чему это гнешь, Горнедухов?

— Да к тому, что у нас в России, существует и рак, и бедные люди тоже есть. Рак научились подлечивать, а бедность тоже идет на убыль, так как работа есть всегда, было бы только желание работать. Сыт будешь, крышу дадут, оденут и лечить

будут. Не так, как у вас, на Западе, но все же с голоду не умрешь. И если бы не гонка вооружений, было бы еще лучше. Но я скажу тебе одно, Костя: вопреки Гиппократу, русский народ научится излечивать рак, а Христос был бы удивлен, узнав, что через какое-то время в России, а потом и во всем мире, благодаря мукам, перенесенным русским народом, исчезнет даже и само слово „бедность"...

Заруби себе это, Костя, на твоем длинном греческом носу, — и пока прощай, до завтра!

⁂

Вернувшись в отель, — продолжал свой рассказ Костя, — я не спал целую ночь, обдумывая разговор с Горнедуховым, и в конце концов решил согласиться на его предложение.

В 10 часов утра приехал к нам в отель Горнедухов, и я сказал ему о своем решении. Втроем, с Олимпиадой вместе, мы поехали в какое-то министерство. В большом зале мы сели за длинный стол. В зал вдруг вошла небольшая группа людей, все, как на подбор, — северяне. Мы перезнакомились, и Горнедухов сделал небольшой доклад, и по лицам присутствующих я понял, что все они уже заранее знали о встрече с нами.

Мне задали несколько разумных деловых вопросов, и, что там говорить, — я подписал короткий, ясный, заранее заготовленный договор, и теперь мы с тобою...

— Мы с тобою?! — вскричал я.

— Да, мы с тобою, Николай, являемся участниками советско-американско-греческой компании под названием „Танаис".

— „Танаис"! — почти простонал я.

— Да, Коля, „Танаис". Конторы этой компании будут находиться в Одессе, в Афинах и в Нью-Йорке, и мы с тобою...

— Со мною! — почти взвыл я.

— Да, Коля, с тобою. Мы будем проводить часть времени в России, а часть — в Греции и, конечно, в Нью-Йорке.

— Теперь ты послушай меня, идиот! — вне себя напустился я на Костю. — Ведь нам с тобою скоро будет по восемьдесят лет, а ты хочешь, чтобы мы стали какими-то летучими голландцами. Креста на тебе нет!

— Даже два, — спокойно возразил мне Костя.

— Каких „два креста"? — слегка озадаченный спросил я.

— Один нательный, а другой — это крест моей дружбы с тобою, который я несу с раннего детства и по сей день. Все тебе нужно разжевать и в рот положить, в надежде, что ты догадаешься проглотить положенное и не подавишься...

— Благодарю за комплимент!

— Не за что, пожалуйста! Но неужели ты не понимаешь, что в нашем возрасте жить, ничего не делая и ничем не занимаясь, это значит даже не угасать, а просто медленно гнить. А потом, со всякими старческими болячками отравлять жизнь близких тебе людей.

Вспомни деда Харлампия, погибшего смертью героя в первую мировую войну, в Черном море. А ведь ему было за девяносто.

А дядя Миша? Он отошел в вечность в возрасте ста четырех лет. Почему они жили так долго? Да потому, что до последнего вздоха не теряли интереса к жизни, к людям, и всем, чем могли, помогали тем, кому была нужна помошь.

А ты? Ты хочешь, чтобы тебя в инвалидном кресле возили да манной кашкой с ложечки кормили, что ли? Нет, Колька, ты мне надоел, наконец, твоим непониманием самых простых вещей, и я снова, как в далеком детстве, беру командование на себя, и я же отвечаю за последствия. Понял?

— Стараюсь понять...

— Так вот: „отец народов" с его компанией и с некоторыми своими наследниками, так же как и все ужасы той эпохи, ушли уже в царство теней и в область преданий.

Вся Россия и все русские люди живут теперь без страха быть стащенными ночью с постели, увезенными в подвалы чека и быть отправленными без суда и следствия в концлагерь. Из старых вождей эпохи военного коммунизма остались в живых редкие единицы, уже одряхлевшие и не имеющие сегодня ни веса, ни голоса. А если некоторые из современных вожаков еще находятся под страхом времен Сталина, то только потому, что страх этот изжить довольно трудно. Процесс изживания будет длительным, но он продолжается и постепенно идет к концу.

Да и во всем мире произошло за последние двадцать пять лет много перемен. Единого, монолитного мирового коммунизма уже не существует, он разбился и распался не несколько частей. В Москве находиться большая часть этого прежнего монолита. А в Москве умеют считать...

— Считать? недоуменно переспросил я.

— Да, считать. Бухгалтеры у них первоклассные. И когда подсчитали, во что обошлась стране вся эта затея с мировым коммунизмом, то нашли, что овчинка не стоит выделки.

А тут еще Китай. Его тоже надо принять во внимание. Как ни крутись, а если Китаю удастся объединить вокруг себя все цветные народы, то „мясо белых братьев" даже жарить не будут, а будут жрать его сырьем. И это не пустая угроза, а серьезное дело.

И вот московские хозяева не только начали вести дела с когда-то ненавистным Западом, но даже „культурным обменом" занимаются. Все это прямо указывает если не на уже фактически существующий союз Запада и СССР, то, по крайней мере, на тесное сотрудничество в смысле предохранения белой расы от порабощения цветными.

— Ты цитируешь германского императора Вильгельма Второго. Его книга о желтой опасности была написана уже более сотни лет тому назад.

— И значение этого труда возрастает с каждым днем. Ты думаешь, Вильгельм был неправ? Нет, он был прав, он-то знал, что творили белые колонизаторы в различных колониях, разведка у него была поставлена превосходно и по-немецки точна. Он и предвидел неизбежный взрыв негодования всех колониальных народов.

Мы с тобой бывали в различных колониях Азии, Африки и Малой Азии. Разве мы сами не видели того, что там делалось?

При помощи Москвы непрошенные „культуртрегеры", хозяйничившие там веками, были сброшены. Москва ликовала, но ее ликование не было долгим: она не учла того, что Китай не доверяет белым вообще, а московским — в особенности.

— Почему не доверяет? — спросил я Костю.

— Ты живешь на какой-то другой планете, что ли? За присвоенные еще в царские времена земли в Сибири, за отношение былых русских властей к китайцам, отношение, мало чем отличившееся от поведения европейских собратьев, захвативших лакомые куски Китая в свои руки. Во времена владычества Хрущева произошла крупная ссора Пекина с Москвой, и она тянется еще и по сей день.

Китай разгадал политику Москвы в Индокитае и реагировал на нее по-своему. Разве тебе неизвестно, что случилось в Камбодже?

— Она была занята какими-то кмерами, — не совсем уверенно ответил я.

— Какими-то „кмерами"! — развел руками Костя. — Этими самыми кмерами командовал известный китайский генерал, и Китай же оказал этим кмерам большую помощь оружием и техникой.

Когда столица Камбоджи была ими занята, победители в первую очередь разграбили посольства не только Москвы, но и всех дружественных Москве стран. Здание советского посольства было обстреляно ракетами, а всем белым дипломатам пришлось искать спасение во французском посольстве, у французских капиталистов.

Сидели они там несколько недель и были потом под конвоем доставлены в Сиам, откуда вернулись в свои страны, подальше от „братского" Китая.

Это событие ничего хорошего не предвещает, и чем все это может закончиться, сказать нетрудно.

Белый же мир пока что продолжает бесноваться и ссориться, не желая поступиться принципами своих идеологий, в то время как им вместо ругани нужно было бы объединяться, пока еще не поздно. К счастью, Москва и Вашингтон поняли, кажется, в чем дело. Они обменялись визитами эскадр и посещениями представителей своих культур. Кажется, что все это может послужить мостом, если не для дружбы, то все же для какого-то сближения между этими двумя гигантскими странами.

— Боюсь я, чтобы этот мост дружбы не оказался Мостом Вздохов и для Москвы, и для Вашингтона, — сказал я.

— Почему? — удивился Костя.

— Да потому, что в России коммунизм, бесклассовое общество, диктатура якобы пролетариата, власть зажимает рты протестующим, а в Америке, сам знаешь, капиталистический строй и какие угодно свободы . . .

Костя посмотрел на меня долгим испытующим взглядом. Потом, улыбнувшись, возразил мне:

— Я недаром провел в России три месяца, видел и слышал много и поэтому могу тебе сказать, что в России больше капитализма, чем в любой другой стране мира . . .

— ? ? ?

— Это именно так, Коля. Ну, начнем с заработной платы. В России средний врач, проучившийся 20, а то и больше лет, зарабатывает 100-200 рублей в месяц. Простой мусорник в Нью-Йорке получает тысячу долларов в месяц. В России, если какой-нибудь ловчила работать не желает, ему жрать не дадут, а в Америке безработный получает восемьдесят долларов в неделю только социальной страховки. А если он действительно не может работать, город будет полностью содержать его и его семью.

В России бесклассовое общество, это верно, но классы заменены там аппаратчиками, которые получают приличное содержание, соответствующее занимаемой должности и ответственности. Для них есть специальные магазины, как и для туристов, где они могут покупать все, что им угодно, по весьма дешевой цене. Магазины эти рядовым гражданам недоступны.

Существует и пьянство, существуют и взятки, и, конечно, знаменитый „блат", которым живут многие граждане СССР.

Так где же больше социализма, в России или в Америке? Америка идет влево. Россия начинает со скрежетом идти вправо. Но уничтожить пьянство, взяточничество и казнокрадство (а где их нет?) ей будет довольно трудно. Эти неприглядные стороны жизни в СССР сильно мешают экономическому росту России, но со временем, и очень скоро, все это будет улажено.

Есть ли там проявления жестокости? А где их нет? Немало мы с тобою бродили по всему белу свету и немало видели ужасных вещей, все еще происходящих во всем мире.

С ростом духовного и национального сознания, с сотрудничеством с Америкой Россия скоро выйдет на дорогу, давно уже уготованную ей судьбою. Проявления жестокости, это наследство сталинской эпохи, сошли почти на нет, хотя и проявляются еще кое-где. Правительству становится все труднее бороться с молодым поколением, имеющим свои духовные запросы, и которое, как и во всей истории человечества, не соглашается зачастую с поколением своих родителей.

И настанет день, который уже не за горами, когда и у самих вожаков проснется национальное чувство, и они сами поймут, через какие муки прошел несколькими поколениями весь русский народ, как он страдал и от белых, и от красных, и от зеленых, от пуль и от виселиц, от порки шомполами и плетьми, от холода и от голода, и от ужаса концлагерей.

И несмотря на все мучения, он все таки остался тем же великим русским народом, о котором Достоевский писал, что русский народ обладает гением всех других наций и сверх того еще и русским гением. Русский народ может поэтому понять все, но постичь его другие народы не могут.

Европейцы называют русских „крушителями" европейской цивилизации, не понимая того, что русский человек страстно желает быть общечеловеком. Западная Европа — это вторая родина русского человека, и она так же дорога русскому человеку, как и сама Россия. Цель русского человека — это объединение всех наций в одно племя, в один народ, но для этого нужно, в первую голову, стать русскими и понять, что народ русский в темноте не находился, а темнота его была светом и умом. И когда поймут

это те, кто не замечал раньше этой особенности, тогда русскими будет произнесено в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. И свет придет с Востока, русского Востока.

Вот почему я и подписал договор. Чтобы помочь как-то осуществлению моей, да и твоей мечты о сближении народов России и Америки. Чтобы даже без нас уже человечество отдохнуло от многовекового кошмара войн и революций, стало бы умиротворенно-кротким и зажило бы той жизнью, о которой учил Великий Плотник из Назарета.

Поэтому я беру тебя и Олимпиаду, и мы втроем летим в Москву. Там мы начнем работать снова для осуществления нашей общей идеи, идеи сближения народов России и Америки. Этот день придет. Поверь мне, Николай, он не за горами.

И несмотря на наш уже преклонный возраст, я верю, страстно верю, что настанет и другой день, когда русскому человеку за все его неслыханные мучения на протяжении многих веков, от татарского ига до сталинских ужасов, за все им перенесенное, будет в Москве поставлен памятник.

Этот памятник не будет слащавым изображением каких-то мифологических фигур. На пьедестале будет стоять во весь рост русский крестьянин, в шапке, в добротном романовском полушубке, в шароварах, заправленных в высокие русские сапоги...

И это будет все...

В день открытия памятника ему, многострадальному, давшему мир всему миру русаку, будут собраны в Москву представители всех народов России. И, про-

ходя перед ним парадным маршем, русские национальные войска будут склонять свои боевые знамена перед ним, олицетворением Его Величества Русского Народа.

Повторяю Колька! Этот день придет как и свет всему миру с Востока. Русского Востока! Я хочу видет этот день — вместе с тобою. А поэтому мы начинаем дела с Москвой.

Спокойной ночи.

ЭПИЛОГ

Ни что в мире не способствует сближению и улучшению отношении между народами Земли так, как простой торговый обмен, не говоря уж о всяких культурных связях между людьми — братьями населяющими центр Вселенной.

Маятник часов хода истории России в одно время резко пошел кверху. Влево. И там остановился по приказу Сталина.

После его смерти этот маятник, верный закону элементарной физики начал свое движение вниз. К центру. А вот теперь он медленно, со скрипом, все же подымаеться опять вверх. Но направо. Его ход пока еще не равномерен. Иногда слышиться хриплый шум и лязг металла.

Временами куранты уже отбивают часы истории могучего народа и этот бой часов отчетливо слышен по всему миру.

Часы хода истории России были сделаны русскими же умельцами. Выходцами того изумительного народа, который нечеловеческими усилиями и страданиями создал одним куском огромную страну — от берегов Балтики до Тихого океана и от льдов Артики до пламенных границ Афганистана и Индии.

Износа этим часам нет. Починок этому дивному инструменту не требуеться. Нужно только немного смазки сознанием русского достоинства и того, что ты — русский.

И тогда эти часы величаво-плавной музыкой будут вещать всему миру о том, что такое есть Россия и кто такой есть русский человек.

Русский народ по его духовным и физическим свойствам удивительно схож с народом северной Америки. Тоже живущего на громадной территории, тоже богатый всякого рода натуральными сокровищами их природы.

Много, много есть общего духовного у этих людей. И хороших сторон у них куда больше чем отрицательных.

Население Земли в данный момент составляют четыре миллиарда человек. Наша же планета может прокормить только два миллиарда людей. Как быть? Что делать? В моем понятии эту задачу могут решить только две страны в мире. Эти страны — США и Россия.

Им не нужны ни богатства, ни территории (своих девать некуда), ни колониальная дешевая, почти рабская рабочая сила.

Добавляю, что эти две страны, каждая по своему, но так или иначе, вот уже почти 50 лет кормят бедные народы всего мира которым иного выхода, как вечного голода, нет.

Если не союз, то по крайней мере тесное сближение этих двух гигантов произойдет в действительности, то они смогут помочь стать на ноги без всяких

ужасных войн, всему обездоленному человечеству — дать ему возможность зажить той светлой хорошей жизнью, о которой когда-то говорил простой немудренный рабочий — Плотник из Назарета.

Сближение этих двух великанов, под сурдинку, уже началось. Будут еще недоразумения, стычки и другия неприятности... Но и это пройдет.

И свет всему миру придет, благодаря духовной связи американского и русского народа, я подчеркиваю народа, с Востока. Русского Востока.

Тако верую.

Н. Катенев

СОДЕРЖАНИЕ